

А. Ф. КОШКО

УГОЛОВНЫЙ МИР ЦАРСКОЙ РОССИИ



А. Ф. КОШКО

УГОЛОВНЫЙ МИР ЦАРСКОЙ РОССИИ

Воспоминания
бывшего начальника московской
сыскной полиции и заведующего
всем уголовным розыском Империи

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИБИРЬ XXI ВЕК»
НОВОСИБИРСК • 1991

А. Ф. КОШКО.

О Ч Е Р К И
УГОЛОВНАГО МІРА
ЦАРСКОЙ РОССІИ

ОСПОМИНАНІЯ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКОЙ
СЫСКНОЙ ПОЛИЦИИ И ЗАВѢДЫВАЮЩАГО
ВСѢМЪ УГОЛОВНЫМЪ РОЗЫСКОМЪ ИМПЕРІИ,

20 РАЗСКАЗОВЪ,

ПАРИЖЪ

1926.

К ЧИТАТЕЛЮ

Странное впечатление оставляет книга, которую Вы, уважаемый читатель, держите в руках. Печаль моя светла — точнее не скажешь. И нет в том кощунства: да-да, перед Вами не сборник лирики, но самая настоящая уголовщина, и все-таки щемящая пронзительная грусть тревожит по прочтении сердце. Отчего бы?..

Начало века, трехсотлетие дома Романовых, дело Дрейфуса, женский вопрос, гибель «Титаника», первые автомобили, синема, вуали, аэропланы, войны, Толстой, французская борьба... Не перечислить, не вспомнить, Россия еще жива, давно это было или вчера, век уже на излете, что будет?..

Вот и преступления, которые тогда совершались — грабеж, насилие, подлог, даже убийство, — чем-то они неуловимо, но явственно отличны от тех же нынешних преступлений. Даже не в наивности дело — и жертвы, и преступника, и сыска (хотя и в наивности тоже) — дело все-таки в атмосфере, дело в состоянии общества, где понятия добра и зла как бы более близки к первоизданности, где человеческое сознание еще не разрушено призраком ядерного смерча, где нравственность еще не отравлена страшным опытом массового истребления себе подобных, где не в качестве символов, но въяве, в обиходе существуют понятия чести, сострадания, благородства.

Смешно, кто-то хмыкнет, мол, раньше и соль была солонее. Да-да, действительно смешно.

Но какая все-таки глухая, отчаянная тоска от нашего знания. ЧТО будет дальше.

Генерал Кошко писал свои мемуары в эмиграции, оттого и окрашены они вполне ощутимой ностальгической нотой. Так ведь и впрямь, мог ли автор пред-

полагать, что на Родине его бесхитростные воспоминания будут прочитаны только через шестьдесят пять лет, через целую жизнь. Пускай же эта публикация хоть малым послужит нам искуплением. Не вернуть уже той России, но сколько с нее собирать нам и собирать, погибель без них...

Мы сознательно не стали вмешиваться в старомодную тяжеловатость слога, сознательно сохранили некую архаичность словоупотребления (тем более и генерал ведь не уполномачивал), единственно позволив себе и орфографию и пунктуацию привести к современным языковым нормам.

Прочтите эту книгу, уважаемый читатель, прочтите, сквозь чисто детективный интерес, сквозь историческую познавательность до Вас неизбежно дойдет тот мощный этический заряд ПРОШЛОГО, которое здесь сокрыто и без которого темна жизнь человека.

Илья Картушин.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я, после долгих мытарств и странствований, очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь.

Я не живу ни настоящим, ни будущим — все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение.

Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита не даром. Если сверстники мои работали на славном поприще созидания России, то большевистский шторм, уничтоживший мою родину, уничтожил в ней и те результаты, что были достигнуты ими долгим, упорным и самоотверженным трудом. Погибла Россия, и не осталось им в утешение даже сознания осмысленности их работы.

В этом отношении я счастливее их. Плоды моей деятельности созревали на пользу не будущей России, но непосредственно потреблялись человечеством. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея-убийцы я сознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Я сознавал, что, задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сапка Семинарист, Гилевич или убийца 9-ти человек в Ипатьевском переулке, я не только воздаю должное злодеям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, которые неизбежно были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками.

Это сознание осталось и поныне и поддерживает меня в тяжелые эмигрантские дни.

Часто теперь, устав за трудовой день, измученный давкой в метро, оглушенный ревом тысячей автомобильных гудков, я, возвратясь домой, усаживаюсь в

покойное глубокое кресло, и с надвигающимися сумерками в воображении моем начинают воскресать образы минувшего. Мне грезится Россия, мне слышится великопостный перезвон колоколов московских и, под флером протекших лет изгнания, минувшее мне представляется отрадным, светлым сном: все в нем мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки я вспоминаю даже и о многих из вас — мои печальные герои...

Для этой книги я выбрал несколько рассказов из той плеяды дел, что прошла передо мной за мою долгую служебную практику. Выбирал я их сознательно так, чтобы, по возможности не повторяясь, дать читателю ряд образцов, иллюстрирующих как изобретательность уголовного мира, так и те приемы, к которым мне приходилось прибегать для парализации преступных воледелений моих горе-героев.

Конечно, с этической стороны некоторые из применявшихся мною способов покажутся качества сомнительного, но в оправдание общепринятой тут практики напомню, что борьба с преступным миром, нередко сопряженная со смертельной опасностью для преследующего, может быть успешной лишь при условии употребления в ней оружия, если и не равного, то все же соответствующего «противнику». Да и вообще, можно ли серьезно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто, глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими проявлениями?

Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть может, в них и вкрались некоторые несущественные неточности.

Спешу, однако, уверить читателя, что сознательно-го извращения фактов, равно как и уснащения, для живости рассказа, моей книги «пинкертоновщиной», он в ней не встретит. Все, что рассказано мною, — голая правда, имевшая место в прошлом и живущая еще, быть может, в памяти многих.

Я описал, как умел, то, что было, и на ваш суд, мои читатели, представляю я эти хотя и гримасы, но гримасы подлинной русской жизни.

А. Ф. Кошко

РОЗОВЫЙ БРИЛЛИАНТ

В одно прекрасное утро 1913 года я получил письмо от знатной московской барыни — княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой — одной из богатейших женщин в России, в котором княгиня горячо просила меня явиться лично к ней для переговоров по весьма важному делу. Имя отправительницы письма служило порукой тому, что дело действительно серьезное, и я немедленно отправился.

Княгиня в ту пору жила в одном из своих подмосковных имений. Застал я ее взволнованной и расстроенной. Оказалось, что она стала жертвой дерзкой кражи. В уборной, примыкавшей к ее спальне, находился несгораемый шкаф, довольно примитивной конструкции. В нем княгиня имела обыкновение хранить свои драгоценности, особенно дорогие ей по семейным воспоминаниям. И вот из этого шкафа исчезли две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоликом и розовый бриллиант. Сердоликовое кольцо имело лишь историческую ценность, так как под его камнем хранился крохотный локон волос, некогда принадлежавший Евдокии Лопухиной — первой жене Императора Петра Великого, кончившей свою жизнь, как известно, в монастыре по воле ее державного супруга. Один из Стрешневых, влюбленный в царицу Евдокию, выпросил у нее эту дорогую ему память. С тех пор эта реликвия переходила в роду Стрешневых от отца к сыну и, наконец, за прекращением прямого мужского потомства, перешла к вызвавшей меня княгине.

Нитки жемчуга были просто ценностью материальной, что же касается розового бриллианта, то в нем соединялось и то, и другое: с одной стороны, он был подарен в свое время царем Алексеем Михайловичем жене своей (в девичестве Стрешневой); с другой — он являлся раритетом в царстве минералогии.

Княгиня была чрезвычайно опечалена утратой этих дорогих ей вещей, но и не менее взволнована мыслью о виновнике этой пропажи.

— Горько, бесконечно горько, — говорила она, — разочаровываться в людях вообще, а особенно в тех, кому ты привыкла издавна доверять. Между тем, в этом случае мне приходится, видимо, испить эту чашу, так как и при самом спокойном отношении к фактам, при самом беспристрастном анализе происшедшего, подозрения мои не рассеиваются и падают все на одно и то же лицо. Я говорю о моем французском секретаре, живущем уже двадцать лет у меня в доме. Как ни безусловно было до сих пор его поведение, тем не менее, согласитесь с тем, что обстоятельства дела резко неблагоприятны для него: он один знал местонахождение пропавших вещей и вообще имел доступ к шкафу. Но этого мало: он вчера весь день пропадал до поздней ночи, что с ним случается чрезвычайно редко, и, более того, он упорно не желает говорить, где находился между семью и одиннадцатью часами вечера. Согласитесь, это более, чем странно?!

Я счел нужным пригласить этого француза к себе в сыскную полицию для допроса. Секретарь оказался чрезвычайно симпатичным человеком, лет сорока пяти, спокойным, уравновешенным, с лицом и манерами, не лишенными благородства, словом, с тем отпечатком во внешности, что так свойствен французам, — этим сынам многовековой культуры.

Он сказал мне, что крайне удивлен и опечален тем, что у княгини могла явиться, хотя бы на одну минуту, мысль об его виновности, но, вместе с тем, категорически отказался дать и мне объяснение своего времяпровождения накануне между семью и одиннадцатью часами вечера. Как я ни бился, как ни доказывал ему необходимость установления алиби, как ни уверял я, что все, им сказанное, не выйдет за пределы этих стен, что ни одно имя, особенно женское, им произнесенное, не будет скомпрометировано — все напрасно! Он готов был идти на всякие печальные последствия своего упорства, но решительно отказывался ответить на нужные мне вопросы. Я так упорствовал, ибо чувствовал нервами, всем моим суще-

ством, что француз говорит правду и ни в чем не повинен. Я убежден был, что в этом благородном человеке говорят соображения рыцарской чести, а не страх и желание замести свои преступные следы.

Но, увы! Начальник сыскной полиции не может руководствоваться лишь внутренним своим убеждением, не может он не считаться с конкретными фактами, а потому и в данном случае не в силах моих было немедленно вернуть свободу симпатичному французу, и, волей-неволей, я передал его в руки следователя, высказав при этом последнему свои соображения. Следователь оказался упрямым, ограниченным человеком и, ухватясь за факт скрывания нескольких часов, неизвестно где проведенных накапуне французом, решил арестовать его. И бедный секретарь был препровожден в тюрьму.

Передав это неприятное дело следователю, я, тем не менее, поручил моему чиновнику Михайлову по возможности выяснить условия и домашний быт служебного персонала княгини. Через несколько дней Михайлову удалось натолкнуться на следующую подробность. Месяца три тому назад княгиней был уволен лакей, Петр Ходунов, прослуживший у нее восемь лет и пользовавшийся ее доверием. Этот лакей не раз путешествовал в штате княгини, следуя за ней за границу на ее собственной комфортабельной яхте. Был чрезвычайно дисциплинирован, кроток и смирен. Княгиня настолько доверяла ему, что бывала, по ее же приказанию, случаи, когда она приказывала Петру открывать заповедный неогороженный шкаф и то присесть, то прятать в него те или иные драгоценности. Уволен он был по довольно странной причине: оказалось, что этот смиренный, трезвый человек припался вдруг без всякого видимого повода грубить, пьянствовать, манкировать службой, словно нарочно напращиваясь на увольнение.

Все это показалось мне странным.

Петр Ходунов не числился в штрафных списках сыскной полиции, но на всякий случай я навел справку о судимости и по изданию министерства юстиции, и каково было мое удивление, когда по нему оказалось, что Петр Ходунов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, дважды судился за кражи и отбывал за них тюремное заключение.

Я немедленно кинулся его разыскивать. Это не представило труда, так как адресный стол дал точную о нем справку.

Но здесь на меня напало раздумье: арестовать-то я его арестую, но что же из этого выйдет? Он, конечно, от всего отопрется, скажет, что целых три месяца как не служил у княгини и, во всяком случае, вещей не выдаст, а предпочтет терпеливо отсиживать, благо в прошлом он уже натренирован с этим отношением.

Я предпочел установить за ним наблюдение, поручив его двум агентам. Дня два они наблюдали за ним, донося, что Петр Ходунов ведет довольно рассеянную жизнь, видится со многими людьми, пьянствует по трактирам. Как вдруг на третий день агенты прибегают и сконфуженно признаются, что «упустили» Ходунова где-то в Лефортове. По всем данным, заметив за собой наблюдение, он ловко перехитрил их и... бесследно скрылся.

Что оставалось делать?

Разбрав моих неловких людей, я немедленно нагрянул на квартиру Ходунова с целью производства обыска, а, при случае, и ареста последнего. Хотя на арест я мало надеялся, так как между потерей из вида Петьки моими агентами в Лефортове и моментом нашего прибытия на квартиру прошло три часа, то есть промежуток времени более чем достаточный для того, чтобы, заподозривший беду, мог вернуться домой, забрать украденное и исчезнуть бесследно. Ходунов занимал квартиру в две комнаты с кухней; одну из них он сдавал сапожнику, а в другой жил с какой-то Танькой и ее матерью. Петьку мы, конечно, не застали, но бросилось мне в глаза не совсем обычное поведение женщин: при нашем появлении они ничуть не растерялись, словно ждали нас, и перекинулись даже, как мне показалось, насмешливым победопосным взглядом. Держали они себя весьма вызывающе. Тщательный обыск ничего не дал, но так как женщины, а с ними и сапожник, ввали напропалую, утверждая, что Петька вот уже три дня, как исчез неизвестно куда, между тем, как люди мои, ведя наблюдение, еще сегодня «приняли» Ходунова с квартиры, то я решил арестовать всю троицу, препроводив ее к себе и

оставив засаду на квартире на случай, хотя и маловероятный, Петькиного прихода.

Я принялся за допросы. Мать оказалась довольно забитым существом, тупым и неграмотным, решительно все отрицавшим. Роль ее была, очевидно, пассивной; а так как она к тому же оказалась больной, страдая кровотечением, то я счел возможным отпустить ее домой под охраной агента. Дочь была в другом духе: шустрая, разбитная, хорошо грамотная, бывалая. Так же, как и мать, все отрицая, она симулировала, и довольно удачно, возмущение по случаю ареста, обещая даже кому-то и куда-то пожаловаться. Ее я задержал при сыскной полиции.

Сапожник отвечал тоже:

— Знать — не знаю, ведать — не ведаю!

Но быстро сдал свои позиции, лишь только я прикрикнул:

— Ах, не знаешь?! Ну, и будешь сидеть, пока не разыщем Петьки. Да и за укрывательство вора еще отсидишь особо.

— Ну, во-о-от?! Ваше высокоблагородие, стану я сидеть из-за всякого г... Нет, уж вы, пожалуйста, отпустите, а я что знаю, то скажу.

— Где Петька?

— Этого не знаю, но, действительно, за час до вашего прихода, на квартиру Петька примчался, что шальной, схватил баульчик, попрощался с бабами, что-то сказал про денешу тете Кате (это, стало быть, сестра старухи), да и был таков.

— Где же живет эта тетя Катя?

— Вот этого, ей-богу, не знаю.

— Ты давно снимаешь комнату у Петьки?

— Третий месяц пошел.

— Не замечал ли какой-нибудь разницы в их жизни за последнюю неделю?

— Действительно, прежде они жили беднее, а последнее время загуляли. И гости, и пьянство, и харча стала другой. Третьего дня и меня угостили на славу; опять же и Таньке он золотые сережки вчера подарил.

Я освободил сапожника и препроводил его домой под засаду.

Хорошо было бы разыскать эту «тетю Катю», думалось мне. Хотя, с другой стороны, и она не выдаст

Петьки, если только заинтересована в деле. Во всяком случае, об этом надо подумать.

На следующий день мне доложили, что мать просит разрешения прислать арестованной дочери пищу и смену белья.

В наших полицейских камерах кормили хорошо и обильно, а посему арестованные, конечно, не нуждались в собственном продовольствии, но я не препятствовал подобным просьбам, требуя лишь внимательного осмотра «передач». Так было и в данном случае, с той лишь разницей, что Танькину передачу я пожелал видеть лично. Она оказалась скромной: горшок щей, круглая, дома испеченная булка, да чистая сорочка.

Я в раздумье уставился на изрезанную и общипанную булку, как вдруг мне пришла в голову мысль.

Взяв крохотный листочек бумажки, я мелкими каракулями карандашом на одной ее стороне написал: «тетей Катей от Петьки получена депеша. Спрашивает, как ему быть?»

Эту записку вместе с огрызком обслынявленного карандаша я приказал запечь в особо состряпанную для сего булку и передать ее Таньке вместе с домашней ее корзинкой, щами и рубашкой.

На следующий день, при отдаче Танькой пустого горшка и грязной сорочки, в рубце ее подола мои люди нашли зашитый ответ, написанный ею на моей же бумажке. Он был таков: «вели тете Кате послать депешу в Нижний Новгород (следовало название улицы и гостиницы), написав, что я под замком».

Вечером в сопровождении двух агентов я выезжал с курьерским поездом в Нижний.

Остановясь в гостинице «Россия», я вызвал туда начальника местного сыскаго отделения. По его словам, Петькино пристанище оказалось скверненькими меблированными комнатами где-то за Окой, по имевшим для нас то преимущество, что содержал их старик, некогда служивший в сыскаой полиции и не порвавший и доныне с ней связи. Он не раз оказывал услуги местному начальнику, сообщая о подозрительных типах, посещавших его комнаты. Я решил поговорить с ним.

— Скажите, проживает у вас Петр Ходунов?

— Как же-с, третий день занимает номер.
— Что он у вас делает?
— Да черт его знает! Уходит с утра, пропадает весь день, а к вечеру возвращается с ярмарки пьяным.
— Послушайте! Вы сами прежде служили по сыскному делу, так, понимаете, вы сможете нам помочь.
— С превеликим удовольствием! — отвечал старик, оживляясь, как старый боевой конь при звуках знакомого сигнала.
— Скажите, не имеется ли свободного номера рядом с Ходуновым?

— Как раз сегодня освободился.

— Вот и прекрасно! Мои люди его займут. А как стены между ними толсты?

— Какое там! Дощатые, можно сказать, перегородки.

— Сейчас Ходунова нет дома?

— Нет, ушел с утра и наверное до ночи не вернется.

— Отлично! Вы вот что, голубчик: сейчас же просверлите в стене пару дырочек, да замаскируйте их хорошенько, вбейте, что ли, рядом гвоздей, а я отправлю к вам двух «пассажиров».

— Слушаюсь-сь...

Через час двое приезжих, купеческой складки с чемоданчиками в руках, поторговавшись, заняли соседний с Ходуновым номер. В просверленные в стене отверстия они осмотрели Петькино помещение и видели вечером, как полупьяный Петька, придя к себе, быстро разделся, вынул из карманов два свертка, один маленький, другой побольше, и, спрятав их под подушку, завалился спать.

На следующее утро один из моих агентов докладывал мне по телефону в «Россию»:

— Петька встал, помылся, оделся, спрятал один сверток в карман пиджака, а другой, маленький, бережно развернул, повернулся к окну и, вынув двумя пальцами его содержимое и прищурив глаз, поглядел на свет. В пальцах его засверкал розовый камень. После этого Петька, самодовольно улынувшись, снова завернул камень в бумажку и спрятал его в нижний правый жилетный карман. Затем, торопливо присев, написал какое-то письмо, заклеил конверт и, видимо, собирается уходить.

— Ни на минуту не спускайте с него глаз и передайте это мое приказание агентам наружной охраны. Помните, что вы лично отвечаете мне за точное исполнение этого поручения.

Я сейчас же помчался за Оку и по дороге встретил моих подчиненных, зорко следящих за каким-то вне-реди них идущим субъектом. Незаметно присоединившись к ним, я последовал за Петькой. Последний быстро шел и привел нас к Главному ярмарочному зданию, где во время ярмарки помещался почтамт. Ходунов вошел в него. Мы последовали за ним. Вместе с нами вошло человек десять из местной агентуры. Петька подошел к окошечку, купил марку, наклеил ее и направился к ящику, чтобы опустить письмо. В этот самый момент я подошел к нему и крикнул на весь почтамт:

— Стой! Я начальник московской сыскной полиции. Подавай бриллиант!

Петька опешил, разинул рот и, наконец, пролепетал:

— Что вам угодно? Какой бриллиант?

— А тот самый, что лежит у тебя в правом жилетном кармане! — и с этими словами я запустил пальцы в его жилет и, быстро освободив камень от бумажки, высоко поднял его над головой. В пальцах моих засверкал бледно-розовый камень, цвета пежной румяной зари. По оцепеневшему на миг почтамту прошел изумленный гул голосов. Петька окончательно растерялся:

— Господи! Да откуда же вы все это узнали? Вот чудеса-то?! Берите уж и жемчуг, все равно от вас не скроешь! Насквозь видите! Ну и дела! Вот так штука!

— Где сердоликовое кольцо?

— Вот чего нет — того нет, господин начальник!

— Куда дел?

— Продал вчера здесь, на ярмарке, персу. Да оно ничего не стоит, пять рублей получил...

— Веди сейчас же к персу!

Лавка перса была указана и кольцо у него отобрано.

Итак — вор был арестован и все вещи найдены. Вечером под конвоем Петька был отправлен в Москву, а я на радостях пожелал со своими двумя московски-

ми служащими отпраздновать удачу. С этой целью мы отправились вечером в ярмарочный кафешантан.

Только русский человек дореволюционной эпохи может иметь понятие о том, что представляет из себя Нижегородский шантан в период ярмарки. Русский безбрежный размах подгулявшего купечества, питаемый и воодушевляемый сказочными барышами, зашибленными в несколько дней; шальные деньги, энергия, накопленная за год и растрачиваемая в короткий промежуток времени, — вот та среда и атмосфера, в которой я очутился. О моем пребывании в ресторане каким-то образом узнали и едва успели мы запясть столик у эстрады и проглотить по стакану сухого Монополя, как стал я замечать, что не только с соседних, но и отдаленных столиков потянулись к нам шеи и головы. Сначала на нас посматривали с осторожным любопытством. Но, по мере того, как опустошались бутылки, застенчивость пропадала и нам стали улыбаться, подмигивать, поднимать бокалы и пить за наше здоровье, а то и попросту указывать пальцами. Наконец, в зал ввалился из кабинета какой-то сильно подвыпивший купец и с бокалом в руках, обратясь ко всем вообще и ни к кому в частности, заплетающимся языком, но громовым голосом произнес:

— Православные! Знаете ли вы, кто присутствует среди нас? Не знаете? Так я вам скажу... Мой земляк, мы оба из Москвы, господин Кошков! Во-о какие осетры водятся в нашей Белокаменной! Он да я — это не то, что ваша нижегородская мелюзга! Слыхали поди, как сегодня он в почтамте подошел к жулику, да и говорит прямо: «Скидывай сапог! У тебя промеж пальцев зеленый бриллиант спрятан!» Что бы вы думали? Так и оказалось все в точности! Эдакого человека мы должны ублажать. Он охраняет наши капиталы от всякой шантрапы и пользу нам великую приносит!

Слова пьяного москвича послужили сигналом: меня тотчас же окружили, кто жал руки, кто лез целоваться. Какой-то особенно экспансивный и не менее пьяный субъект вывернул огромный бумажник и заорал:

— Может, деньги нужны? Бери без стесненьев, милый человек! Бери, сколько хочешь!..

Другой ввел в зал оркестр, заигравший туш. Заорали «ура!». На pianosonеток, съехавшихся со всех концов Европы, посыпался дождь сторублевых бумажек и пошел пир горой, неудержимый, дикий, не знающий границ ни в тратах, ни в сумасбродствах, — словом, тот пир, о масштабах и размерах которого не могут иметь и не имеют хотя бы приблизительного понятия все те, кто не родился с русской душой.

Оглушенный, растроганный и в полном изнеможении вернулся я к себе в гостиницу.

На следующее утро я покинул Нижний и возвратился в Москву.

Вызвав к себе Таньку, я сказал ей:

— Ну, полно ломаться! Говори же, где Петька?

— Ой, да что вы, господин начальник, все о том же. Я говорила уже много раз, что ничего о нем не знаю.

— Так-таки ничего не знаешь?

— Разрази меня Господь! Не сойти мне с этого места! Лопни мои глаза! Ничего не знаю!

— И глаз своих не жалеешь?

— Да, господин начальник, пусть лопнут, ежели вру!

Я, не торопясь, вынул из кармана бриллиант, развернул бумажку и издали показал его ей.

— А это видела?

Танька вспыхнула и прошептала: «Видела».

Я взял мою записочку с ее надписью на обороте.

— А это видела?

— Я писала, — чуть слышно прошептала Танька.

— То-то и оно!.. А говоришь — «лопни мои глаза!» Ведь записочку-то я тебе послал, я же и ответ твой из рубашки расшил! Эх, ты, Танька, Танька! Сама же своего Петьку выдала!

С Танькой сделалась форменная истерика.

Возвращая похищенные вещи княгине Шаховской-Глебовой-Стрепышевой, я заметил в ней не только радость, но и немалое смущение.

— Господи, как это ужасно! А я-то заподозрила этого честнейшего и ни в чем не повинного человека! Как взгляну я теперь ему в глаза?

Как взглянула княгиня в глаза своему верному французу — мне неизвестно. Но образ этого рыцаря надолго запечатлелся в моей памяти.

ВАСЬКА СМЫСЛОВ

Ваську Смыслова московская сыскная полиция знала прекрасно. Он уже несколько раз нами арестовывался за мелкие кражи; но, отбыв тюремное наказание, снова принимался за свое «ремесло».

Как-то дня через два после довольно значительной кражи в одной из квартир на Поварском, кражи еще не раскрытой, вдруг раздается звонок по моему служебному телефону. Я подхожу:

— Алло! Кто говорит?

— Это вы, господин начальник?

— Я.

— Желаю вам здоровья, с вами Васька Смыслов говорит.

— Здравствуй, Васька, что скажешь?

— А ваши-то дураки третьего дня опять меня прозевали!

— Ну-у?! Врешь!

— Ей-богу! Ведь на Поварском-то моя работа!

— Ну, что же? Везет тебе, Васька, но только смотри, не попадись!

— Ну уж нет, господин начальник, теперь мы наловчимшись, не поймают, шалишь!

— Ох, Васька, смотри не бахвалься!

— Будьте без сумления, не попадусь!

И Васька повесил трубку.

Смыслов был жизнерадостным малым с хитринкой и, как ни странно, с большим добродушием. Он, видимо, не лишен был и юмора и, чувствуя весь комизм моего положения, принялся с этого дня звонить мне всякий раз после удачно совершенной кражи. Стянув благополучно в одном из ювелирных магазинов на Кузнецком Мосту несколько часов при помощи выдавленного стекла в витрине, Васька звонил:

— А это опять я, господин начальник! Что, чисто сработано на Кузнецком?

— Да что и говорить, молодец! Комар носа не подточит!..

— То-то и оно, а вы говорите — поймаете, да пи в жисть!

— Поживем, Васька, увидим!

— Да и смотреть нечего! Сказал, не поймаете.

Сделав паузу, Васька продолжал:

— А вот что я вам скажу, господин Кошкин, подготавливаю я здесь дельце покрупнее, как сработаю, непременно вам позвоню.

— Ох, Васька, лучше не звони, дразнишь ты меня!..

Васька хихикнул в трубку от удовольствия:

— Ничего, господин начальник, уж вы потерпите, это вам полезно!..

И Васька дал отбой.

Создавшееся глупое положение начинало меня изводить. Я был уверен, что Васька сдержит обещание, и решил принять меры. Мною было отдано следующее распоряжение: лишь только я тремя долгими звонками позвоню из своего кабинета в дежурную комнату, дежурный чиновник немедленно должен броситься к одному из свободных телефонов и тотчас же справиться на центральной станции о номере, разговаривающем в данный момент с начальником сыскной полиции. В это же время на другого чиновника возлагалась задача раскрыть имеющийся при полиции порядковый регистратор телефонных номеров с указаниями против каждого номера адреса абонента. Третий же чиновник с двумя агентами должен будет в это время одеваться и, получив адрес от первых двух, немедленно мчаться на автомобиле к указанному месту.

Двое суток мы ждали Васькиного звонка. Наконец, на третий день меня кто-то вызвал по телефону и, подойдя к аппарату, я услышал Васькин голос. Держа трубку в правой руке, левой я нажал электрическую кнопку на письменном столе и дал три долгих звонка.

Теперь вся задача сводилась к тому, чтобы в течение известного времени занять Ваську достаточно

интересным для него разговором, не возбуждая при этом в нем подозрений.

Васька начал, как всегда:

— Я обещался позвонить вам, господин начальник, вот и звоню.

— Скажи, Васька, а как ты не боишься мне звонить? Вдруг я узнаю, откуда ты звонишь и по номеру телефона открою твое местонахождение.

Васька выразительно свистнул:

— Не на такого напали. Что я за дурак, что стану звонить вам от родных или знакомых. В Москве, слава те, Господи, телефон в любом подъезде, а Москва-матушка велика. Подите-ка, ищите!..

— Да ты, я вижу, Васька, бабковит!

— Ничего-с, Господь головой нас не обидел. А почью нынче мы опять поработали, на Мясницкой. Чай слышали? Да только взяли самую малость!

— Нашел чем хвастагы! Великое дело, подумаешь! А вот слышал ты, что этой же ночью было на Тверской?

— Нет, не слыхал, а что, господин начальник? — и в голосе Васьки зазвучало любопытство.

— То-то и опо, что ты, Васька, на мелочи разме-ниваешься, а настоящего дела и не видишь!

— Да что же такое? Скажите ж!

— А то, что на Тверской ювелирный магазин дочиста обобрали...

— Да ну-у?!.

— Вот тебе и да ну-у...

— И много взяли, господин начальник?

— Да, говорят, тысяч на триста.

— Ишь, черти!.. — и в голосе Васьки послышалась зависть.

— А как ты полагаешь, Васька, чьих рук дело? Васька подумал и сказал:

— Никто другой, как Сережка Кривой.

— А кто это Сережка Кривой?

— Неужто не знаете? Да что с Тапкой рябой хороводится.

— Тапку рябую знаю.

— Ну, вот, они вместе и орудуют.

— А давно ты видел Сережку Кривого?

— Да с неделю, пожалуй, будет.

— Послушай, Васька, ты бы узнал мне, где теперь Сережка; зато, когда и попадешься, так я тебе твоей услуги не забуду и всякое снисхождение сделаю.

— А и впрямь, не поискать ли? — задумчиво сказал Васька, но потом добавил: — А только не найтить!

— Почему же?

— Да вы, господин начальник, говорите, триста тысяч, разве при таких деньгах он останется в Москве? Поди, теперь и след его простыл!..

Васька хотел еще что-то добавить, но вдруг как-то вскрикнул, трубка зацелкала у меня в ухе и я понял, что Васька пойман.

Через четверть часа он уже был у меня в кабинете.

— Ну, что, Васька, чья взяла? Кто кого перехитрил?

— Да уж ловко оделано, слова не скажу, господин начальник!

Васька почесал в затылке, помялся и неуверенно сказал:

— А позвольте вас спросить насчет трехсот тысяч, это вы зря, для обману говорили?

— Конечно, для обмана. Нужно было занять тебя интересным разговором.

Васька восхищенно закатил глаза в потолок, ударил себя кулаком в грудь и с чувством промолвил:

— Ну, и ловкач же вы, господин Кошкин!..

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В 1908 или в 1909 году я получил из Главного Управления Почт и Телеграфов извещение, что за последние месяцы многие города России наводнены искусно подчищенными почтовыми марками семи- и десятикопеечного достоинства. Подчистка настолько совершенна, что лишь при сильной лупе может быть обнаружена. Есть основание предполагать, что в этом мошенничестве орудует хорошо организованная шайка, разбросившая сети чуть ли не по всей России. Ходят смутные слухи, что центр организации находится в Варшаве.

Получив эти сведения, я приказал агентам обойти каждому в своем районе все табачные, мелочные и прочие лавочки, где, по установившемуся издавна обычаю, продавались марки.

Москва велика, а посему операция эта заняла немало времени.

Вместе с тем, я обратил внимание на то, что за последнее время появилось множество объявлений в газетах от имени коллекционеров, предлагавших скупить старые марки. Поэтому я решил произвести обыски и у этих коллекционеров, впрочем, не давшие ничего, кроме огромных запасов старых марок.

Во многих табачных и мелочных лавках агенты мои, вооруженные специально для них приобретенными лупами, обнаружили, отобрали и принесли мне марок, казавшиеся им подозрительными, которые я принялся внимательно разглядывать. Подчистка была идеальна: не только не малейших следов старых штемпелей, но полная сохранность по краям зубчиков, неприкосновенность клеевой массы и так далее. Единственно при сравнении двух марок — новой и подчищенной — в последней краска была чуть-чуть

бледнее и казалась слегка выцветшей. Разница была столь ничтожна, что пришлось партию этих марок отправить в Главный Почтамт на экспертизу, где лишь и была окончательно установлена их непригодность. Характерно, что марки эти попадались лишь поштучно и никогда целыми листами. Опрошенные лавочники-продавцы в один голос заявляли, что марки ими приобретены в почтовых отделениях и что о недоброкачественности их они и не подозревали. Один лишь из них, человек, видимо, крайне робкий, напуганный вмешательством властей, чистосердечно признался, что получил для своей лавки запасы марок от небезызвестного марочного коллекционера, проживавшего в одном из Кузицких переулков, некоего Е. Получал он их от Е. со скидкой в половину копейки со штуки...

Я командировал агентов к Е. При обыске у него подчищенных марок не нашли; но одно обстоятельство обратило на себя внимание моего помощника В. Е. Андреева, который был во главе обыска, это то, что в бумажнике Е. была найдена накладная на товар из Варшавы, причем товар, в ней обозначенный, оказался весьма оригинального свойства — мешок перьев! Зачем коллекционеру марок выписывать из Варшавы перья? Словно гусей, уток и прочей птицы мало в Москве? Этот Е. был арестован и препровожден в сыскную полицию. Сначала он отпирался, но, просидев двое суток в камере и будучи вызванным на очную ставку с табачным лавочником, его прежде назвавшим, он перестал упираться, сознался во всем и широко пошел нам навстречу в деле раскрытия всей этой мошеннической махинации. Он рассказал следующее: месяца три тому назад является к нему какой-то человек, по виду еврей, продает ему несколько экземпляров довольно редких марок, долго болтает на разные темы и заканчивает свою беседу выгодным предложением: поставить ему партию прекрасно подчищенных семи- и десятикопеечных марок со скидкой трех копеек со стоимости каждой. Тут же он показал свои образцы. «После долгих колебаний я соблазнился и изъявил согласие на аферу. Тогда мой искusstель назвал фамилию Зильберштейна, которому и предложил писать в Варшаву до востребования. Мы

списались и вот время от времени я получаю от Зильберштейна партии марок, упакованные в мешки с перьями, что не даст возможности их прощупать».

— Как вы полагаете, — спросил я, — пришел ли по последней накладной мешок?

— Судя по времени, должно быть — да.

Я отправил человека с накладной на товарную станцию и мешок был вскоре привезен. Мы высыпали перья и среди них обнаружили до десяти тысяч марок. Они были сложены пакетиками по сто штук и каждый из них был аккуратно перевязан голубой ниткой.

Не представляло труда, конечно, написать Зильберштейну, от имени Е., письмо с заказом и арестовать его в Варшаве, в почтамте, в момент получения им корреспонденции до востребования; но марочное предприятие приняло всероссийский масштаб, требовало раскрытия и самого источника производства и полной его ликвидации. Между тем, Зильберштейн мог оказаться лишь посредником, а не непосредственным работником и главой предприятия. Все эти соображения заставили меня отказаться от мысли о немедленном аресте последнего и я стал изобретать повод для поездки в Варшаву. В этом отношении мне помог все тот же арестованный коллекционер.

— Ничего не может быть проще! — сказал он. — Зильберштейн не раз предлагал мне в письмах приехать в Варшаву для обсуждения какого-то нового и весьма прибыльного дела. Я подозреваю по его намекам, что речь идет о распространении подчищенных гербовых марок.

— Зильберштейн вас никогда не видел?

— Нет.

— Отлично! Сделайте паузу дня в три, а затем напишите ему, что готовы приехать в Варшаву для переговоров, и просите указать вам точно место вашей будущей встречи.

Е. согласился исполнить это требование, но сказал:

— Вы видите, господин начальник, что я не только покался в преступлении, но и готов всячески содействовать раскрытию всего дела. Будьте добры, освободите меня, я истосковался по дому!

Я был в затруднительном положении и решил посоветоваться с прокурором суда Арнольди.

— Не знаю, что и посоветовать вам,— сказал он.— При освобождении Е., он может бежать или испортить вам дело. Впрочем, делайте, как хотите, Аркадий Францевич. Вам виднее.

— Я освобожу вас до суда,— сказал я Е.,— но приставлю к вам двух агентов, несущих денно и нощно дежурство при вас.

— Помилуйте! Для чего эти предосторожности?

— Нет, уж вы извините, но они необходимы.

— Ну, что же, пусть будет так!

Дня через три Е. написал Зильберштейну до востребования. В этом письме он изъявлял согласие на переговоры о выгодном деле, но заявил, что сам ехать не может, а готов прислать родного брата, которому доверяет, как самому себе. Вскоре пришел ответ от Зильберштейна с подробным указанием дня, часа и места встречи. Для свидания Зильберштейн выбрал Саксонский сад и скамейку как раз напротив входа в летний театр. Для большей точности он просил г. Е. держать в руках местную русскую газету «Варшавский дневник». Е. тотчас же написал о приемлемости времени и места, и я стал собираться в путь. К назначенному сроку я с двумя агентами выехал в Варшаву.

В условленный час я был в Саксонском саду, на указанной скамейке и внимательно прочитывал широко развернутый «Варшавский дневник». Вокруг меня никого не было, если не считать какой-то толстой еврейки с младенцем, сидящей напротив. Прошло полчаса — никого. Прошел час — никого. Я собрался было сокрушенно уходить, полагая, что нечто совершенно непредвиденное задержало или напугало Зильберштейна. Как вдруг моя еврейка перешла площадку и под села ко мне. Немного помолчав, она с обворожительной улыбкой спросила меня:

— Скажите, моё, вы русский?

— Русский.

— Уй! Люблю я русских, хороший, щедрый народ! Я поклонился.

— Вы живете в Варшаве или приезжий?

— Приезжий, сударыня.

— Я так и думала! Вы не похожи на варшавянина. Вы из Петербурга?

— Нет, я из Москвы.

— Из Москвы?!.— как бы удивленно улыбнулась она и, тотчас же прильнув к моему уху, прошептала: — Ну, так я уже вам покажу сейчас господина Зильберштейна!

Она повела меня на Трембацкую улицу, подвела к какому-то небольшому кафе и указала на столик у самого зеркального окна. За ним сидел еврей лет сорока, рыжеватый, довольно прилично одетый. Он взглянул на нас через окно и улыбнулся моей провожатой. Я вошел в кафе и направился к Зильберштейну. Он приподнялся навстречу и мы молча пожали друг другу руки. Сели.

— Мне очень приятно познакомиться с таким хорошим человеком! Мы так хорошо работали вместе, вы всегда так аккуратно платили, словом, делать с вами гешефты — одно удовольствие!

Я улыбнулся:

— Да, собственно, вы работали не со мной, а с моим братом. Но это, конечно, все равно.

— Ну, и какая же разница? Ваш брат нам писал, что приедете вы, и я прекрасно знаю, что вы не господин Е., а его брат. Ну, не все ли равно?

— Положим, и моя фамилия Е., но, конечно, я лишь брат вашего покупателя,— и для большей достоверности я вытащил паспорт и раскрыл его перед Зильберштейном.

— Зачем мне ваш паспорт? Разве я сразу не вижу, с кем имею дело? — тем не менее он запустил глаза в документ.— Знаете, господин Е., раньше, чем разговаривать о делах, выпьем по келишку? Ну?

— Хорошо бы позавтракать сначала, я голоден.

— Можно и позавтракать! Отчего нам не позавтракать?

— Да, но здесь как-то неуютно! Пойдемте в какой-нибудь ресторан почище!

— Видно, господин Е., что вы настоящий аристократ, работаете, так сказать, на широкую ногу! — и Зильберштейн взглянул на меня восхищенно.

— Да, слава Богу, пожаловаться не могу, обороты хорошие делаю!

— Ну, так знаете, что я вам скажу? Если мы договоримся, вы — миллионер! Поверьте слову Янкеля Зильберштейна!

— Ладно, ладно! Об этом после, господин Зильберштейн, а теперь бы поесть!

— Идемте, идемте, господин Е.! Я тут недалеко такой ресторан знаю, что останетесь довольны: такие фляки, такие зразы, такой цомбер заиенчи подают, что сам господин Ротшильд не забракует!

Зильберштейн привел меня в довольно приличный ресторан. Выпили мы с ним рюмки по три старки и мой еврей размяк.

— Какой вы симпатичный и компанейский человек! С вами так приятно иметь дело! — восклицал он поминутно.

Мы принялись за завтрак.

— Знаете, господин Е., я такое, такое дело хочу вам предложить, что, если до сих пор мы зарабатывали копейки, то на новом гешефте будем зарабатывать рубли!

— Да, вы в одном из ваших писем намекали, я хорошенько не уверен, но мне показалось, что вы имеете в виду гербовые марки?

— Юдишер копф! — восхищенно воскликнул Зильберштейн. — Да, я именно об этом и «намекивал». Вы только подумайте, разница-то какая! Пятирублевые, десятирублевые, наконец. Боже ты мой, сорокарублевые марки! Вы понимаете меня?

— Отлично понимаю! Но прежде, чем говорить, нужно и на товар посмотреть.

— Пхе, само собой! Кто же заглазно товар покупает? Да еще такой деликатный?

— Вот я про то и говорю. Покажите образцы, а то и само предприятие, чтобы я мог судить как о качестве, так и о солидности и размахе дела.

— А вы надолго приехали в Варшаву?

— На несколько дней, во всяком случае, в зависимости от того, сколько потребует дело.

— Ну, так нечего и торопиться! Я переговорю со своим компаньоном и завтра мы вам покажем и образцы и, если он только согласится, то и саму выделку. Я хоть сейчас готов вас повезть, да приходится считаться с ним, а он недоверчив и боязлив.

Однако, после второй бутылки вина, Зильберштейн проникся горячей ко мне любовью и патетически воскликнул:

— Да, что уж вас мучить,— вот вам образцы!

И он достал из бумажника несколько гербовых марок. Я принялся рассматривать эту не менее изумительную работу.

Подвыпивший Зильберштейн укоризненно воскликнул:

— Что вы делаете? Неужели вы невооруженным глазом думаете что-нибудь увидеть?! Да возьмите же, господин Е., лупу, лупу возьмите, вот она! — и он протянул мне лупу.

— Благодарю вас, у меня есть лупа. Я сначала желаю получить общее впечатление.

Поглядев со всех сторон марки, я затем принялся их исследовать и через лупу. Наконец, оторвавшись от этого занятия, я солидно промолвил:

— Товар хорош, без изъяна, ничего не скажу, даже удивительно!

Зильберштейн самодовольно улыбнулся.

— Вы, быть может, думаете, что Зильберштейн вам хвастает и показывает настоящие марки?

— Нет, я этого не думаю. Но, разумеется, для крупного заказа мне нужна твердая вера в серьезную техническую установку. Ведь каждую марку не осмотришь. Быть может, господин Зильберштейн, вы переговорите с вашим компаньоном и как-нибудь устроите это?

— Хорошо, господин Е. Будьте завтра в час дня на Праге: там, на такой-то улице, в доме номер сотрок три имеется маленький ресторанчик, хотя и грязненький, посещаемый больше фурманами, но надежный во всех отношениях. Я познакомлю вас со своим компаньоном и, быть может, он согласится вам показать кое-что.

На этом мы и порешили.

Я позвал лакея и потребовал счет.

— Мы с вами будем рассчитываться на немецких началах,— сказал мне Зильберштейн.— Я заплачу за то, что я кушал, а вы за то, что сами скушали.

— Ну, что там считаться! Для такого приятного знакомства заплачу я за все.

— Для чего же это? — слабо запротестовал Зильберштейн. — Лучше бы на немецких началах?

— Ладно! Завтра заплатите вы, вот и выйдут немецкие начала.

Мы вышли. Зильберштейн долго тряс мне руку, объясняясь в любви, превозносил мою щедрость. Но, наконец, мы расстались и я отправился к себе в гостиницу.

Пробыв в ней часа два, я к вечеру вышел и с наступившими сумерками отправился в местную сыскную полицию. Я обратился к Еовалику, начальнику варшавского отделения. Рассказав ему кратко, в чем дело, я просил его дать мне на завтра к часу двух агентов, переодетых фурманами (извозчиками), для наблюдения за Зильберштейном и его сообщником. К варшавским агентам я присоединил своих двух, привезенных из Москвы.

На следующий день, ровно в час, я входил на Праге в грязный ресторанчик, где у стойки толпилась уже куча людей крайне пролетарского вида. Вскоре к ним присоединился и один из извозчиков-агентов. Не успел я занять в соседней, «чистой», комнате столик, как пожаловали Зильберштейн и его спутник. Зильберштейн радостно меня приветствовал и познакомил с компаньоном, называя его Гриншпаном. Мы заказали какую-то еду.

Гриншпан резко отличался от Зильберштейна. Насколько последний был доверчив и экспансивен, настолько первый казался осторожным и скрытным. Несколько раз в течение завтрака Зильберштейн одергивался и обрывался Гриншпаном. Так было, когда Зильберштейн в порыве восхваления своего товара хватался за бумажник, желая вынуть новые образцы. Так было и тогда, когда Зильберштейн, увлеченный размерами будущих барышей, признавался, что масштаб их работы — всероссийский.

Поговорив с час, я в принципе изъясил согласие принять широкое участие в сбыте гербовых марок в Москве, но при условии хотя бы некоторого введения меня в курс дела и техники производства. Осторожный Гриншпан не дал окончательного ответа, но просил завтра еще раз явиться в этот же ресторан, где он и обещал окончательно объявить о своем решении.

Очевидно, за предстоящие сутки он намеревался навести обо мне справки в гостинице, а, может, и понаблюдать за мной и моими прогулками по Варшаве. Мы выпили из ресторанчика, долго прощались у подъезда, но, убедившись, наконец, что мои люди и оба извозчика тут, я расстался с мошенниками и направился к себе. Опасаясь за собой слежки острогожного Гриншпана и боясь провалить дело, я решил в этот день не выходить больше из гостиницы. Поздно вечером зашел ко мне один из моих агентов и доложил, что все они внимательно весь день следили за обоими субъектами и точно установили, что проживают они на окраине Праги при переплетной мастерской с вывеской: «Переплетная мастерская Я. Гриншпана». В течение дня они несколько раз выходили и приходили обратно и, наконец, один из них, поменьше ростом (Зильберштейн), вернулся в последний раз в девять часов, после чего они переплетную закрыли, а в боковых от нее окнах появился свет.

Тут же вечером я получил из Москвы срочную телеграмму от своего помощника, извещавшего меня о кровавом убийстве и ограблении в одной из квартир Поварского переулка, а потому, торопясь вернутся, я решил форсировать события и, не дожидаясь завтрашнего свидания, произвести немедленно обыск в переплетной, тем более, что все говорило за то, что производство марок организовано там же: оба сообщника живут вместе, прикрываются вывеской переплетной мастерской, то есть декорацией удобной, так как этого рода мастерство требует и бумаги, и клея, и всяких инструментов для тиснения, быть может, пригодных и для подчистки и вырезывания марок.

Я позвонил Ковалику и сообщил ему о моем решении немедленно произвести обыск. Он пожелал принять в нем участие и мы, с его и моими агентами, направились в Прагу. Постучавшись в переплетную, мы не получали долго ответа. Мы стали барабанить сильнее — и, наконец, за дверью послышался испуганный мужской голос:

— Кто там?

— Открывайте, полиция!

— Ой, вей! Какая полиция? Что вам угодно, господин обер-полицеймейстер?

— Открывайте немедленно, или мы выломаем дверь!

Угроза подействовала, и трясущийся от страха Зильберштейн в пантофлях раскрыл двери. Мы быстро вошли в комнату — мастерскую. Тут был прилавок, верстак, стол и две табуретки, в стороне виднелась кровать, на которой приподнялся навстречу нам всклокоченный Гриншпан. В соседней комнате была столовая, а еще дальше компата супругов Зильберштейн, вернее, — Гриншпан, так как Зильберштейн оказался родным братом Гриншпана, присвоивший себе чужую фамилию, прикрываясь которой он и получал всю корреспонденцию до востребования. При нашем, а в основном моем, появлении первые слова Гриншпана, обращенные к Зильберштейну, были:

— Ну что, Яша? Не говорил я тебе?!

Мы приступили к обыску, но, к тревоге моей, ни в мастерской, ни в столовой мы ровно ничего не обнаружили. Оставалась третья комната, спальня супругов. Из нее послышались какие-то подвывания, стоны и охи.

— Господа полиция, не входите, пожалуйста, туда! Там моя больная жена, — обратился к нам Зильберштейн.

— Невозможно! Мы обязаны осмотреть все помещение, — отвечали ему.

— Ну только, пожалуйста, потихоньку и поскорее!

— Ладно, ладно, не беспокойтесь!

Мы вошли в спальню. На широкой кровати корчилась жирная еврейка, оглашая комнату криками.

— Что с ней? — спросил я Зильберштейна.

— Да то, что бывает с женщинами.

— Именно?

— Мадам Зильберштейн «ждет»...

— Чего же она ждет?

— Маленького Гершке или Сарочку!

— Ах, во-о-от что!

Но корчи мадам Зильберштейн мне показались неестественными, ее и без того преувеличенные вопли аккуратно усиливались по мере того, как приближались к ее кровати.

— Уй, уй! Не трогайте меня! Чтоб ты сдох, Янкель! Ты виноват в моих муках. Ох! Ой!..

Она явно переигрывала роль.

Я предложил послать за акушеркой, прикомандированной к полиции.

— Зачем вам беспокоиться?!. — заволновался Зильберштейн. — Тут рядышком живет хорошая акушерка, ну мы ее и позовем.

— Нет уж, мы лучше свою выпьем.

— Уй! Ведь, это так долго будет, а тут бы сразу!

— Ничего, потерпите! Мы на фурмане в миг слетаем.

Обыск продолжался, а один из агентов поехал за полицейской акушеркой.

Черты стонущей еврейки мне показались как будто знакомыми. Я вгляделся пристальнее, п... Ба! узнал мою вчерашнюю знакомую по Саксонскому саду. Не подав вида, я спросил Зильберштейна:

— Давно ваша жена так мучается?

— Ух! Уж две недели, как не сходит с кровати. Все схватка: то отпустит на минуточку, то опять! Она очень, очень страдает!

Еврейка, услышав мой вопрос и ответ мужа, принялась выть еще громче. А затем, повернув ко мне голову, умирающим голосом промолвила:

— И знаете, я иногда прошу смерти у Бога, до того мне бывает швах. Уй, уй! Вот опять началось! Уй!

— Да, госпожа Зильберштейн, вы сегодня чувствуете себя много хуже, чем вчера в Саксонском саду, — сказал я спокойно.

Госпожа Зильберштейн сразу перестала стонать, быстро повернула голову в мою сторону и впилась в меня своими сирийскими глазами.

— Ну, что вы хотите этим сказать? Ну, да! Сегодня хуже, а вчера лучше. Вот и сейчас лучше, гораздо лучше! Я даже, пожалуй, и' встану!.. — и госпожа Зильберштейн опустила свои толстые ноги с кровати на пол.

Когда вернулся агент с акушеркой, она решительно отказалась от медицинского осмотра и, накинув на плечи капот, отошла в сторону. Мы внимательно осмотрели и оцупали всю кровать, по... ровно ничего не нашли. Не более удачными оказались выстукивания стен, особенно той, что прилегала к отодвинутой теперь кровати.

Вдруг один из агентов, производивший обыск в этой комнате, заявляет, что половицы пола, как раз на месте, где стояла кровать, как-то шатаются при нажиме. Их подняли и под ними оказалась крутая лестница, ведущая в глубину подвала. Принесли свечи, спустились вниз. Там оказался коридорчик в виде траншеи, сажени две длиной, а в конце его небольшая комната, этак в сорок, примерно, квадратных аршин. Эта «катакомба» и оказалась местом «омолаживания» марок. Мы застали в ней двух спящих мастеров — евреев. В одном углу стоял особый котел, где отваривались и отклеивались старые марки. На середине комнаты был стол с чертежными досками, на которых высушивались и заново обмазывались клеем марки. Но что интереснее всего — это то, что в наши руки попало несколько тысяч марок целыми листами. Тут же лежал один лист в работе, еще не законченный, и по нему мы имели возможность восстановить картину и способ его выделки. Оказывается, брались вычищенные и еще несколько влажные марки, раскладывались на чертежной доске клеевой стороной вниз по десять и двадцать штук на каждой стороне, в зависимости от желаемого размера квадрата. Укладывались эти марки чрезвычайно тщательно, а именно так, чтобы краевые зубчики одной входили в промежутки зубчиков другой и образовывали этим самым как бы непрерывную общую массу. После этого бралась узенькая (не шире миллиметра, а, может, и менее) ленточка тончайшей папиросной бумаги длиной во весь лист и осторожно наклеивалась по сошедшимся зубчикам между рядами марок. Затем брался особый инструмент (тут же лежавший), напоминающий собой колесико для разрезывания сырого теста, но отличавшегося от кухонного инструмента тем, что по краям этого колесика (перпендикулярно периферии) торчали частые и острые иголочки. Если взять этот инструмент за ручку и прокатить колесико по обклеенному междумарочному пространству, то на нем опять пробьются дырочки, но ряды марок, благодаря оставшейся папиросной бумаге, окажутся плотно связанными друг с другом и разве с помощью чуть ли не микроскопа вы различите эту поистине ювелирную работу.

Братьям Гриншпанам ничего не оставалось делать, как сознаться, Спасая свою шкуру, они выложили

все. За шесть месяцев своей работы они успели раскинуть широкую сеть по всей России. В каждом крупном городе имелись и агенты, вербовавшие сбытчиков, и «коллекционеры», снабжавшие их старыми марками. Организация была настолько многочисленна, что перед Варшавской Судебной Палатой, где слушалось это дело, предстало несколько сот обвиняемых. К чему были приговорены хитроумные «предприниматели», — я не помню, но помню зато, что с чувством глубокого удовлетворения покидал я тогда Варшаву и возвращался в Москву, где жизнь не ждала и продолжала являть миру все новых и новых горе-героев,

ТЯЖЕЛАЯ КОМАНДИРОВКА

Это случилось в Риге в начале девяностых годов, то есть в бытность мою начальником рижского сыскного отделения.

В местном кафедральном соборе был украден крупный бриллиант с иконы Божьей Матери. Все обстоятельства дела говорили за то, что кража эта совершена церковным сторожем, проживавшим в подвальном помещении собора. Хотя обыск, произведенный у него, и не дал положительных результатов, но справка, наведенная в его прошлом, подтвердила мои подозрения, так как оказалось, что сторож судился уже однажды за кражу и отбывал за нее тюремное заключение.

Получив эти сведения, я решил арестовать его.

Просидел он в полицейской камере дней пять, в течение которых я трижды его допрашивал. Но сколько я ни бился, как ни старался поймать на противоречиях,—ничего не выходило, он просто умолкал, не желая отвечать на вопросы.

Я попробовал было приняться за его жену, но баба оказалась хитрой, грубой, но не болтливой. Она не только отговаривалась полным неведением, но заявила мне прямо, что муж ее арестован не по закону, а зря.

На этих допросах у меня окрепла уверенность в их обоюдной виновности. Но что было делать? Как доказать ее? Как найти бриллиант? И вдруг меня осенила мысль!

Вспомнилось мне, что в комнате сторожа стоит большая двухспальная кровать, и я решил ее использовать. Позвав двух агентов, я объяснил им план действия: завтра, по моему вызову, явится к двенадцати часам на допрос сторожика; продержу я ее с час, а они в ее отсутствие проникнут в помещение сторо-

жа; один из них (Панкратьев) подлезет под кровать и зароется там в разном хламе и тряпье, замеченном мною еще при обыске, и пролежит под ней до восьми часов вечера, то есть до моего прихода; другой же отмычкой приведет замки в первоначальный вид и удалится.

Сказано — сделано.

На следующий день я подробно допрашивал сторожуху и, не добившись ничего, с мнимой досадой заявил ей:

— Черт вас обоих знает! Может, и правда — вы не виноваты! Ладно, я выпущу сегодня твоего мужа, но помни, что вы оба у меня под подозрением.

Отпустив с допроса жену, я через час освободил и мужа, объявив ему, что освобождаю его по закону, хотя в душе считают его виновным.

К восьми часам я с агентами явился к собору и постучал в комнату сторожа. Завидя нас, они замесились в панике. Я громко крикнул:

— Панкратьев, где бриллиант?

И вдруг к неопишуемому ужасу их, под кроватью что-то зашевелилось и выползший из-под нее взъерошенный Панкратьев радостно рывкнул:

— В дровах, господин начальник!

Наступила мертвая тишина.

— Ты слышишь? — обратился я к сторожу. — Давай бриллиант!

— Да врет он, ваше высокоблагородие! Я ничего не знаю.

— Ну, Панкратьев, рассказывай, как было.

— Да что же, господин начальник, рассказывать. Залез я под кровать, пролежал час, пришла женщина, ва ней часа через два и мужчина. Поставили самовар, сели чай пить, напились и женщина говорит:

— Ты бы посмотрел, Дмитрыч, все ли цело в дровах?

— Куда же ему деваться? — отвечает он.

Однако мужчина вышел наружу и вскоре принес полено. Поковыряли они его, поглядели — все на месте. Жена и говорит:

— Ты бы оставил его в комнате, оно вернее.

А он отвечает:

— Нет, не ровен час, — опять нагрянут. Лучше отнести на прежнее место.

И отнес. Вернувшись, он принялся с женой сначала смеяться и издеваться над вами, а потом пошло такое, что лучше и не рассказывать, господин начальник. Они, сволочи, пружинным матрацом чуть мне всю рожу не исцарапали.

— Ну, что ты на это скажешь? — обратился я опять к сторожу.

— Все это им померещилось! Знать — не знаю, ведать — не ведаю и вас не ругал.

Пришлось искать в дровяных штабелях, что были выложены у задней стены собора. По свежим следам отыскиали, приблизительно, место и, рассмотрев и расколов сотни полторы поленьев, мы отыскиали, наконец, драгоценный камень...

— Господин начальник, — говорил мне Панкратьев, — ради Бога не давайте мне больше таких командировок, а то я чуть было не подох: восемь часов отлежал под кроватью, да еще укутавшись грязным вонючим бельем и тряпками. Просто сил моих нет! Тьфу! — и он сочно сплюнул.

ДЕЛО ГИЛЕВИЧА

Многолетний служебный опыт заставил меня выработать в себе привычку терпеливо выслушивать каждого, желающего беседовать лично с начальником сыскной полиции. Хотя эти беседы и отнимали у меня немало времени, хотя часто меня беспокоили по пустякам, но я не только выслушивал каждого, но и конспективно заносил на бумагу все, что казалось мне стоящим малейшего внимания. Эти записи я складывал в особый ящик и извлекал их по мере надобности. Надобность же эта представлялась вовсе не так редко, как может подумать читатель. Как ни необъятен, как ни разнообразен преступный мир, но и он имеет свои законы, приемы, обычаи, навыки и, если хотите, — традиции. Преступные элементы человечества связаны более или менее общей психологией и для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать все яркое, необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз служили мне верную службу.

Это особенно сказалось в деле Гилевича.

Началось оно так:

— Господин начальник, там какой-то студент желает Вас видеть по делу, но, смею доложить, он сильно выпивши, — докладывал мне дежурный надзиратель в моем служебном кабинете в Москве, на Малом Гнездиловском переулке.

— Ладно! Зовите!..

Через минуту в комнату вошел студент. Неуверенным шагом он приблизился к письменному столу и тотчас же схватился руками за спинку кожаного кресла. Это был здоровый малый, в довольно потрепанной студенческой форме, с раскрасневшимся лицом и с всклокоченными волосами. Он уставился на

меня помутневшими глазами и улыбался пьяной улыбкой.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Извините, господин начальник, я пьян и в этом не может быть ни малейшего сомнения, — отвечал студент, — позвольте по этому случаю сесть?..

И, не ожидая приглашения, он плюхнулся в кресло.

— Что вам от меня нужно? — спросил я.

— И все... и ничего!

— Может быть, вы сначала выспитесь.

— J amais! Я к вам по срочному делу.

— Говорите.

— Видите ли, господин начальник, я просто не знаю, как приступить к рассказу, до того мое дело странно и необычно.

— Ну, ну, раскачивайтесь скорее: мне время дорого.

Студент икнул и принялся полузаплетающимся языком рассказывать:

— Прочел я как-то в газете, что требуется на два месяца молодой человек для исполнения секретарских обязанностей за хорошее вознаграждение. Прекрасно и даже очень хорошо! Я отправился по указанному адресу. Меня принял господин весьма приличного вида и, поговорив со мной минут десять, нанял меня, предложив сто рублей в месяц. Сначала все шло хорошо, но затем многое в его поведении мне стало казаться странным. Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Однажды же, поехав со мной в баню, он особенно внимательно разглядывал мое тело, а затем, самодовольно потерев руки, чуть слышно прошептал:

«Прекрасное, чистое тело, никаких родимых пятен и примет...»

— Да-с, господин начальник, никаких пятен и примет, то есть rien, не правда ли, удивительно? Через несколько дней мы поехали с ним в Киев, остановились в приличной гостинице в одном номере. Весь день мы бегали по городу по разным делам и покупкам и, когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть. Разделся и лег. Патрон мой сел было писать письмо, а затем говорит мне вдруг:

— Примерьте, пожалуйста, мой пиджак и, если он вам впору, то я охотно его вам презентую.

Я примерил и, представьте, пиджак оказался сшит, как на меня. Мой патрон остался очень доволен и тут же подарил его мне. Наконец, я заснул. Сколько я спал — не знаю, но вдруг просыпаюсь под тяжестью устремленного на меня взгляда. Приоткрывая глаза, вижу, что мой патрон пристально на меня смотрит. Я снова зажмурился; но настолько, чтобы иметь все же возможность наблюдать за ним. Прошло минут десять, в течение которых он не отрывал от меня взора. Тогда я принялся нарочно похрапывать и он решил, видимо, что я сплю, тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати, и вынул из него пару длинных ножей. Понимаете ли, господин начальник, пару длинных ножей, вот таких (он показал размер руками). Все это он проделал тихо, осторожно, по-прежнему не спуская с меня взгляда. Меня объял дикий ужас и я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидев это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки, быстро напялив их на себя, не одев даже кальсон и едва застегнув тулужурку и под предлогом расстройства желудка, выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал (к счастью, деньги были), да в поезд. И вот сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опасности и явился к вам, чтобы рассказать об этом, более чем странном случае.

— Чего же вы бежали? Чего вы опасались?

— А ножи?

— Какой же расчет ему было убивать вас?

— Да, черт его знает! Но он так глядел на меня, так глядел на меня, господин начальник, что мне казалось, что он хочет, чтобы я был он, а он — я.

— Ну, голубчик, вы, кажется, зарапортовались. Что за чушь..., «Я был он, а он я?». Просто это вам приснилось.

— Какое приснилось, когда я и багаж свой там оставил!

— А какой у вас был багаж?

— Да, например, серебряная мыльница.

— А еще что?

— Опять же полотенце, кальсоны и подаренный пиджак.

Подумав, я спросил:

— Где вы живете?

— Пока нигде, а жил там-то, — и он назвал адрес и свою фамилию.

Я навел справку по телефону и она подтвердила его слова.

— По какому адресу вы ходили наниматься в секретари?

— Вот этого припомнить я не могу, разве προσπάюсь и завтра вспомню.

— Хорошо, если вспомните, то приходите. До свиданья!

Студент как-то помялся, а потом проговорил:

— Господин начальник, конечно, мои сообщения малоценны, но все-таки, может быть, вы одолжите три рубля, а я припомню адрес и сообщу вам.

— Извольте, получите! — и я протянул ему трехрублевку.

Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях:

— Вот за это спасибо, ну, и выпью же я сейчас за ваше здоровье. *Vivat* господину начальнику! *Gaudeamus igitur*. — Сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета.

Я набросал кратко на бумажке сообщенные им данные и спрятал ее, на всякий случай, в заведенный для этого ящик.

На следующий день он не явился, и я вскоре забыл о его существовании.

Дней через пять после этого звонит мне по телефону начальник петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов:

— У нас тут, Аркадий Францевич, на Лештуковом переулке, случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак хорошей работы. Голова трупа обнаружена в печке в сильно обезображенном виде (вырезаны щеки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу). Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно. Из осмотра пиджака выяснено, что он работы московского портного Жака. Не откажите, пожалуйста, послать к нему агента с теми данными, которые я вам продиктую сейчас. На всякий случай, образчик материи привезет вам сегодня со скорым поездом посланный мною чиновник, он же доложит вам все детали осмотра.

И Филиппов продиктовал мне ряд цифр и терминов, данных ему «экспертизой» портных.

Я обещал ему, конечно, полное содействие и откомандировал немедленно агента к портному Жаку. У него выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит недавно некоему инженеру Андрею Гилевичу за 95 рублей.

Услышав имя Гилевича, я сразу вострепнулся, так как тип этот мне был хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству с дутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотография этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас, при московской полиции. Гилевич в свое время произвел на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моем воображении типичным «героем» Ломброзо.

Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения. Вместе с тем, я добавил, что имею основания полагать, что убит вовсе не Гилевич и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой. Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображивания лица усиливал мои подозрения.

В. Г. Филиппову обстоятельства, сопровождающие убийство, казались тоже странными, и он решил пока тело не хоронить и энергично принялся за расследование.

Человек, приехавший из Петербурга с образцом материи костюма, был мною расспрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем «А».

Услышав о ножах и мыльнице, я тотчас вспомнил о пьяном студенте. Порывшись в ящике и, найдя записку с его показанием и адресом, я полетел к нему. Застав его снова в безнадежно пьяном виде, храпящим в беспробудном сне, я велел привести его в сыскную полицию. Здесь на диване он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал предо мною.

— Вот что, опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве.

— Ах, господин начальник, я так виноват перед вами! Честное слово, я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить.

— Хорошо, об этом после. Как выглядела ваша мыльница?

— Да самая обыкновенная, коробка с крышкой...

— На крышке был какой-нибудь рисунок?

— Нет, имелась лишь буква.

— Какая буква?

— «А».

— Почему же «А»?

— Да это, видите ли, не моя мыльница, а моего приятеля, впрочем, я собирался ее вернуть, да, вот, не пришлось.

— Теперь извольте припомнить адрес, куда вы ходили напиматься в секретари.

— Да я, ей-богу, и сам бы рад вспомнить и, как назло, память отшибло.

— В таком случае, я вас отсюда не выпущу. Извольте припомнить.

Студент стал напряженно соображать, тер себе лоб, закатывал глаза и вдруг лицо его расплылось в улыбку.

— Да, да, кажется, вспомнил! — сказал он радостно. — Третья Ямская-Тверская, номера дома не знаю, но по виду укажу.

— Ну, вот и отлично. Едем сейчас же!

На Третьей Ямской-Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Песецкая. Узнав моего спутника и справившись даже об его компаньоне, она рассказала мне подробно, как в ее комнатах проживал пекий Павлов, что к нему ходило по объявлениям много молодежи, что, наняв, наконец, «вот их», (она кивнула на студента), он, вместе с секретарем, через несколько дней выехал от нас. Через неделю, примерно, Павлов вернулся, но уже один. Опять к нему стали ходить разные студенты и, наняв одного из них, он с неделю, как уехал с ним вместе в Петербург. «Впрочем, я по книге точно могу вам сообщить все сроки их отъездов и приездов».

— Посмотрите на эту карточку, не господин ли это Павлов? — сказал я, предъявляя ей фотографию Гилевича, захваченную мной из служебного архива.

— Он, он и есть! — убежденно сказали Песецкая и студент.

Теперь для меня не оставалось сомнения, что, убийство на Лештуковом переулке — дело рук Гилевича. Однако, мотив убийства оставался для меня неясен. Что могло побудить Гилевича пойти на это страшное дело? Казалось, ни корысть, ни месть не руководили им. Какие же стимулы двигали его преступной волей? Половое извращение, садистские наклонности? Но зачем же тогда это переодевание трупа в собственный пиджак? Для чего же это старательное искажение лица убитого?

В это время мне снова позвонил по телефону В. Г. Филиппов.

— Знаете, — сказал он мне, — ваше предположение относительно Гилевича не оправдалось: я вызвал к трупу мать и брата Гилевича и они оба признали в убитом сына и брата, Андрея. Мать рыдала над покойным, ни минуты не сомневаясь в личности убитого. Придется, видимо, направить розыск по другому пути.

В ответ на это я сообщил Филиппову добытые мною сведения и убеждал его не полагаться на мать и брата Гилевича.

Теперь на очереди стоял вопрос о выяснении личности жертвы. Я обратился ко всем ректорам московских высших учебных заведений, прося дать мне сведения о студентах, которые за последние две недели брали долгосрочные отпуска. Вместе с этой просьбой я сообщил им некоторые приметы убитого студента, то есть его высокий рост и плотное ширококостное сложение. Вскоре канцелярии учебных заведений прислали мне соответствующие списки, по которым набралось фамилий тридцать. По всем полученным адресам я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты.

Из тридцати рапортов лишь два обратили на себя мое внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов такого-то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилуцкий, найдя занятия, выехал на два месяца в Петроград, оставив в Москве за собой комнату. Я кинулся по последнему адресу.

Квартирная хозяйка дала о Прилуцком хороший отзыв: смирный, кроткий человек, небогат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезд на два месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик.

Я вызвал агентов и приступил к тщательному обыску. Из хранившейся у Прилуцкого переписки выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого, родного человека в лице тетки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии.

Я немедленно командировал в это имение агента, снабдив его фотографиями трупа и мертвой головы.

Агент, по возвращении, доложил, что тетюшка Прилуцкого получила от последнего около двух недель тому назад письмо из Москвы, в котором он ей радостно сообщал, что нанялся секретарем к некоему Павлову и уезжает с ним в Петроград. Тетюшка была глубоко потрясена и опечалена мыслью о возможности гибели племянника, но, по строению и расположению зубов, усмотрела в фотографии большое сходство с ним. Тетюшка рассказала, что отец покойного, заботясь об образовании сына, положил на его имя пять тысяч франков в один из парижских банков, надеясь, что сын со временем приедет в Париж для усовершенствования в науках.

По получении этих сведений, стало ясно, что убит Прилуцкий.

Но меня продолжал мучить все тот же проклятый вопрос: для чего понадобилось Гилевичу это убийство? Не пять тысяч франков, конечно, соблазнили его. Прилуцкого он до этого не знал. Очевидно, Прилуцкий стал жертвой, благодаря лишь своему сходству с Гилевичем. И все чаще и чаще мне вспоминались слова пьяного студента:

«Он хочет, что бы я был он, а он — я!».

Сообщив полученные мной дополнительные сведения Филиппову, я узнал, что и у него есть новые, интересные данные по этому делу.

Он запросил все Страховые Общества и в результате выяснилось, что жизнь Андрея Гилевича была застрахована в двести пятьдесят тысяч рублей в Страховом Обществе «Нью-Йорк», и оказалось, что мать Ги-

левича предъявила уже полис для получения страховой премии. Филиппов отдал, конечно, приказ арестовать мать и брата Гилевича, но в тюрьме брат повесился, и за решеткой осталась сидеть лишь мать.

Так вот для чего понадобилось это таинственное превращение мертвого Прилуцкого в «убитого Гилевича»!

Теперь оставалось разыскать убийцу. Это являлось, однако, делом нелегким, так как за это время он мог легко скрыться за границу.

Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилуцкого следующее письмо:

«Милостивый Государь,
Господин Начальник!

Считаю своим долгом довести до Вашего сведения нижеследующие обстоятельства, могущие, быть может, помочь Вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновения моего племянника Александра Прилуцкого. Вчера я получила из Парижа письмо, при сем прилагаемое, якобы, от Саши, где он просит меня выслать нужные документы в главный парижский почтамт до востребования. Они необходимы ему для получения из банка вклада, положенного на его имя отцом. Хотя почерк в письме и походит на Сашин, но меня берут все же сомнения в его подлинности. Кроме того, я не допускаю мысли, чтобы Саша, всегда державший меня в курсе своих дел и предположений, мог уехать в Париж, не предупредив меня о том заранее. Ведь, уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле и да поможет Вам в этом Господь!»

По моему приказанию была сейчас же произведена экспертиза почерков пересланного мне письма и автографа Гилевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена, особенно сходными оказались заглавные буквы Л.

Итак, Гилевич в Париже!

Переговорив с Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и дельного чиновника особых поручений

М. Н. К-а, который, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича.

Какова была, однако, моя досада, когда на следующий день после его отъезда в «Новом Времени» появилась заметка, сообщающая об отъезде М. К-а в Париж и о цели его командировки. Я немедленно послал срочную шифрованную телеграмму ему в догонку, сообщая о заметке и предлагая скупить все парижские номера «Нового Времени» за такое-то число.

Получив мою телеграмму, М. Н. К-в по приезде в Париж успел скупить все номера газеты на Северном вокзале и лишь два или три из них успели проскочить в продажу. Прежде всего М. Н. К-в кинулся в Главный Почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. К-в предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явятся за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании и К-в увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гилевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отведен в полицейский комиссариат, где и оказался искусно загримированным Гилевичем. Когда с него были сняты приклеенная бородка и парик, когда грим был смыт с его лица — в личности арестованного не оставалось никакого сомнения.

Убийца пытался было уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его, как преступника политического, но словам его, конечно, не придали значения.

Видя, наконец, что игра проиграна, Гилевич призвался во всем. Из банка он был препровожден в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала. Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения еще раз помыться, ввиду недавней гримировки. Ему разрешили, и он, в сопровождении полицейского, отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и

мыло. В уборной он незаметно сунул в рот отколотый кусочек мыла и, набрав в руки воды, запил его. Не успел полицейский его отдернуть, как Гилевич уже пал мертвым.

Оказалось, что в мыле он хранил цианистый калий, который и проглотил в критическую минуту.

По распоряжению Филиппова тело Гилевича было набальзамировано и отправлено в Петербург.

Так покончил земные счета один из тяжких преступников нашего времени.

Умелый адвокат, защищавший мать Гилевича, добился ее оправдания. Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой, когда она, по возмездию Небес, лишилась двух взрослых сыновей, вырванных из жизни петлей и ядом?!

ЖЕРТВЫ ПИНКЕРТОНА

В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошел тучный, высокий человек в пальто с барашковым воротничком, высоких, лакированных сапогах и каракулевой шапкой в руках, лет пятидесяти, с проседью, по виду третьеразрядный купец. После нескольких приглашений он решился, наконец, грузно опуститься в кресло, глубоко вздохнул и обтер вспотевший лоб.

— Кто вы и что вам угодно? — спросил я его.

— Мы будем 2-ой гильдии купцом, Иваном Степановым Артамоновым, имеем в Замоскворечье свою бакалейную торговлю, а только между прочим все это ни к чему, потому что, можно сказать, перед вами не купец, а труп!

— То есть как это труп?! — удивился я.

— Оченно даже просто, господин начальник! Какой же я живой человек, когда завтра мне смерть!

— Ничего не понимаю. Говорите, ради Бога, яснее!

— Да, уже все расскажу, господин начальник, на то и пришел. Одна на вас надежда, оградите меня от напасти! Не оставьте своей помощью! — и перепуганный купец рассказал следующее:

— Вчера-с мы, как и кажинный день, заперли в девятом часу лавку, отпустили приказчиков, подсчитали выручку и, покончив с делами, поставили самовар и принялись пить чай. Выпили мы это с моей супружницей стаканчика по три. «Дай, говорит, Степаныч, я подолью тебе свеженького». А я ей: «Нет, Саввишна, что-то не пьется, не по себе мне как-то: не то сердце ноет, не то под ложечкой сосет». «Это ты крошки перекушал нонче», — отвечает она. «Нет, крошки мы съели в плипорцию. Не в ей дело, душа, говорю, как-то ноет. Не быть бы беде!». — «Типун тебе на язык, Сте-

паньч!», и супруга моя даже сплюнула. Вдруг в это время звякнул звонок. Господи, кого-это несет в такую пору? Входит в столовую кухарка и подает письмо. «Откудова?».— спрашиваю. «Да какой-то малец запес, сунул в руку и ушел». Чудно это мне показалось. По коммерции своей я получаю письма, но утром и по почте, а это — на ночь глядя и без марки к тому же. Забилось мое сердце, нищу очков — найти не могу, а они тут же на столе лежат. Саввишна мне говорит: «Давай, отец, я распечатаю и прочту. Глаза мои помоложе будут». «Сделай одолжение,— говорю я,— а мне что-то боязно!» Супруга раскрыла конверт, вытащила письмо, развернула да как вскрикнет: «С нами крестная сила!» Я всполошился, аж по в пот ударило. Что, говорю, орешь? «Смотри, смотри, Степаныч!» — и дрожащей рукой протягивает письмо. Я поглядел: Свят! Свят! Свят! Страсти-то какие! Внизу листочка нарисован страшный шкилет, тут же черный гроб и три свечи. Да, вот, извольте, сами посмотреть! — сказал Артамонов, протягивая мне письмо.

Я пробежал его глазами:

«Приказываю Вам завтра, 13-го декабря, вручить мне на площади „У болота“, ровно в 8 часов вечера, запечатанный конверт с тысячью рублей. В случае неисполнения этого приказа, будете преданы лютой смерти!

Грозный атаман лихой шайки — «Черный Ворон». Купец продолжал:

— Как увидели мы с Саввишной шкилет да гроб, сидим ни живы, ни мертвы, а читать письмо боимся. Посидели, этак молча, а затем я и говорю: «Ну, Саввишна, читай, у тебя глаза вострее!». А она: «Мое ли это дело? Ты хозяин и мужеского пола, ты и читай!» Поспорили мы эдак, а читать оба боимся. Концы к концам, я кликнул Настю — это, стало быть, дочку мою. Она у нас образованная, в седьмом классе гимназии обучается, да только не в меру горда. Ну, ладно! «Настенька,— говорю я,— прочти-ка нам это письмо да и объясни все по порядку, что в нем прописано». Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой, да и говорит эдак мудрено: «Папаша, вы стали,— говорит,— обедком акспроприятеров!..» Это что же означает? — говорю,— Каким-таким обедком? Да мы,

слава Богу, жизнь прожили, и не то, что объедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились. И так мне обидно стало за это глупое слово! Дочка пожалала плечами, фыркнула и, уходя, сказала: «Какой вы, папаша, необразованный, ничего вы не понимаете!». Ах, ты, дурища! — крикнул я в сердцах. — Я хоть и необразованный, а вот тебя вырастил, выкормил, да и наукам обучил, а ты и помочь родителю не хочешь в смертельных опасностях! Ну да что с нее возьмешь, господин начальник! Известное дело, — не уважает она нас. Подумал я эдак — подумал и решился отнести завтра деньги. Хоть оно тысячу целковых отвалить и не по нашим капиталам, да что поделаешь, — живот свой дороже. И расстроился я просто — во как! Однако Саввишна мне говорит: «Не дело надумал, Степаныч! Ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря». «Какое, — говорю, — зря! У меня самого сердце кровью обливается, да что ж поделаешь — умирать не охота». А жена в ответ: «Пользы никакой тебе от этого не будет. Ну, заплотишь ты тыщу, а душегубы у тебя через неделю еще три потребуют. Скажут, — купец пугливый, да покладистый. Ты что же — и три отвалишь?» И расстроила она меня этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хоть плачь! «Нет, говорит, Степаныч, послушай моего бабьего совета! Сходи ты в сыскную полицию, разыщи самого главного начальника, да и расскажи ему все, как есть. Оно вернее будет! И защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся». До утра мы с ней судили да рядили, и баба моя на своем настояла. И вот я пришел к вашей милости, не оставьте без внимания, защитите!

И Артамонов, прослезившись, обтер глаза платком.

— Ну, и скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас наставила. Нечего мошенников поощрять! А мы вас защитим, но только и вы должны нам помочь.

— За этим дело не станет! — сказал повеселевший Артамонов. — Ежели там расходы какие, или, к примеру сказать, благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием! — и он полез было за бумажником.

— Да вы никак рехнулись, голубчик, с перепугу?! Прячьте, прячьте ваши деньги, они нам не нужны. Мы цареву жалование получаем и обязаны защищать от мошенников всех и каждого. Ваша помощь будет не в том. Вы должны будете завтра в назначенный в письме час явиться на место и ждать «Черного Ворона», а когда он явится и подойдет к вам, супуть ему запечатанный конверт, пабитый газетной бумагой. В это время мои люди его схватят.

Артамонов чуть не кувырнулся со стула:

— Ну, уж нет, господин начальник! От этого увольте! С чего же это я на рожон полезу? Да этот самый «Ворон», как палнет в меня — тут мне и конец! У меня как-никак жена, дочь, торговля! Я не только не встречаться, а за версту не желаю видеть этого душегуба! Нет уж, вы сделайте милость, как-нибудь без меня управьтесь!

— Чудак вы человек! Как же без вас обойтись? Ведь если вместо вас пойдет другой, то «Черный Ворон» пройдет мимо его, не останавливаясь, и мы его не опознаем и не словим. Не пайдя вас, он обозлится и вот тогда-то вам, наверное, крышка!

— Мать честная! Святые угодники? Что же мне теперича делать? И так обернешься — плохо, и эдак — ах, еще хуже! Вот истинная папасть и выхода нет!

— Выход есть: послушайте меня и все хорошо будет.

— Да, как же, господин пачальник, ведь боязно-то как?!

— Чего же вы боитесь, подумайте сами? Вы все сделаете, как он приказывал, конверт передадите, с чего же ему вас убивать или трогать?

— Так-то оно так! А ежели они спохватятся, что в конверте не деньги, а одна труха?

— Так мы не дадим ему времени разглядывать!

Артамонов глубоко задумался, затем нерешительно молвил:

— А все же, может, господин пачальник, вы найдете забубенную голову такую, что за вознаграждение согласится пойти заместо меня?

— Опять, пачитай сначала! Да ведь, «Ворон»-то вас в глаза знает? Ведь писал-то он вам! Поджидать-то будет вас?

Наконец, после долгих уговоров, мне удалось убедить купца. Он обещал завтра явиться к «Болоту» ровно в восемь.

Я отправил агента для предварительного осмотра места завтрашней встречи. Из его донесения выяснилось, что место «Вороном» выбрано удачно, так как представляет собой обширную площадь. Ни подъезда, ни лавки, ни подворотник, куда бы можно было спрятать засаду,— поблизости не имеется. Я лично съездил взглянуть на площадь и убедился в точности донесения. Однако мне показалось возможным рассадить моих людей по деревьям, там и сям растущим среди площади. Деревья были старые и ветвистые и, конечно, в декабрьских сумерках, при крайней отдаленности редких керосиновых фонарей, агенты на них будут незаметны.

На следующий день я так и распорядился. Часа за два до условленного срока мои засадчики заняли свои птичьи позиции. Один из них мне потом докладывал:

— Ровно в восемь часов появилась дрожащая фигура Артамонова, которая, озираясь и спотыкаясь, начала разгуливать по площади, держась поближе к нашим деревьям. Минут через пятнадцать появился со стороны прилегавшего к площади рынка мальчишка лет четырнадцати, подошел к оцепеневшему купцу и деланным басом проревел:

— Конверт!

Артамонов, дрожа всем телом, протянул конверт и в полусбморочном состоянии прислонился к дереву. Мальчишка, не глядя, стал запихивать воображаемые деньги за пазуху рубашки. Ну, мы тут его и схватили. При обыске у него ничего не оказалось, кроме вот этих трех книжонок. И агент положил мне на стол три лубочных раскрашенных экземпляра из «нинкертоновской» серии. Один из них был как раз озаглавлен «Черный Ворон», и тут же на обложке виднелись череп, скрещенные кости, черный гроб и три свечи.

— А ну-ка, позовите ко мне Черного Ворона! Ко мне ввели мальчика, рыдающего в три ручья.

— Ты и есть Черный Ворон?

Мальчик, не отвечая, продолжал реветь.

— Ах ты паршивец этакий! Вот прикажу сейчас разложить тебя, да как всыплю тебе полсотни горячих, так ты у меня забудешь, как людей запугивать письмами!

Выбравив его хорошенько, я вызвал к себе его родителей. Он оказался сыном довольно зажиточного и тоже замоскворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию и, услышав о проделке сына, так и ахнули:

— Ах он паскудник! Ах он разбойник этакий! Да ведь теперь сраму не оберешься! То-то мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать. Ну, уж мы ему и зададим! Так палупим, что всю жизнь будет помнить!

Счастливым и сияющим Артамонов явился благодарить за чудесное спасение, но, узнав, в чем было дело, сначала обозлился:

— Ишь щенок паршивый! И подумать только, сколько кровушки он мне перепортил!

Но быстро успокоившись, назидательно промолвил:

— А всему причиной — книги! Я и то, господин начальник, моей Насте говорю: не суши ты зря мозгов! Коль родилась душой, так душой и помрешь, умней не станешь. Да с ней разве сладишь? Начитается этих самых... как их?... ромапов, а там, того и гляди, сбежит из дому с нашим старшим приказчиком — Савельевым!

САШКА СЕМИНАРИСТ

Тяжелые месяцы выпали на мою долю в 1913 году!

Москва была терроризирована серией вооруженных грабежей, сопровождавшихся убийствами. Грабежи эти следовали один за другим, с промежутками в неделю-две, и носили несомненные общие признаки: жертвы обирались дочиста (часто до белья, включительно), убивались всегда каким-нибудь колющим оружием. Из этого цикла убийств мне особенно врезались в память, по дальнейшему ходу дела, следующие:

Убийство флиртующей пары, направлявшейся на Воробьевы Горы в ресторан Крынкина. Убиты и ограблены были не только седоки, но и извозчик, на котором они ехали.

Убийство за Драгомиловской заставой богатого коммерсанта Белостоцкого и тяжелое ранение ехавшего с ним родственника и зверское убийство под Москвой, в селе Богородском двух старух. Картина этого последнего убийства была особенно кошмарна. Жертвы жили в Богородском, в старом церковном домике. Одна из них была вдовой местного священника. Вместе с ней проживала ее сестра — старушка. Обе женщины не только были убиты, но подверглись еще перед смертью утонченной пытке. Вид их трупов ледянил кровь: поломанные кости, вырезанные груди, обугленные пятки, — говорили о перенесенных ими чудовищных истязаниях. Все в доме было перевернуто вверх дном. Все, что можно было унести, — унесено. Словом, та же картина ограбления дочиста, столь знакомая мне по ряду других происшедших недавно случаев. Тут же при доме во дворе валялись трупы двух отравленных собак.

Я перечислил лишь три случая, но, в общей сложности, на протяжении трех-четырех месяцев, произо-

шло больше десяти злодеяний, совершенных, очевидно, одной шайкой.

После первых двух однородных и нераскрытых случаев, я поставил на ноги всю сыскную полицию. Все, что было в ее силах, было сделано. Были опрошены воры и мошенники, зарегистрированные по нашим спискам, были обысканы все обычные места сбыта краденого, десятки агентов проводили дни и ночи во всевозможных кабаках и притонах, особенно охотно посещаемых преступным миром Москвы, в надежде уловить какую-нибудь нить, могущую навести на след. Однако все было безрезультатно.

Не лучше обстояло дело с облавами и засадами.

В конце концов я пришел к заключению, что здесь орудует шайка не профессионалов, а, наоборот, людей, никогда не проходивших через руки сыскной полиции, и, вообще, стоящих вдалеке от обычных преступных элементов Москвы. Подобное умозаключение мало еще продвигало меня вперед, и с каждым новым проявлением активности наглой шайки я сильно нервничал, сознавая необходимость во что бы то ни стало быстро раскрыть и уничтожить народившуюся преступную организацию.

Но что было делать? Люди мои сбились с ног, я сам измучился в тщетных исканиях ключа к этой головоломной загадке.

И вот уже, медленно крадучись, стало заползать в душу сомнение в своих силах, стала меркнуть вера в себя.

Но, отогнав прочь эту временную слабость, я продолжал напряженно работать.

Наконец, через полтора месяца после разбойного нападения за Драгомиловской заставой, один из коммерсантов, тяжело раненный грабителями, настолько оправился, что, с разрешения врача, я посетил его и допросил.

Он уцелел каким-то чудом. Рана, нанесенная ему в шею у ключицы, оказалась весьма глубокой, и лишь, благодаря счастливой случайности, сонная артерия не была задета.

— Расскажите мне, пожалуйста, возможно подробнее о нападении, жертвой которого вы стали, — обратился я к раненому,

— Извольте, хотя в сущности я вряд ли смогу быть вам полезным, так как видел и знаю немного.

— Рассказывайте, пожалуйста, все, что помните.

— Ехал я со своим покойным родственником вдвоем в его кабриолете. Он только что получил из банка деньги для расчета с рабочими и какие-то процентные бумаги. Проехали мы Драгомиловскую заставу, начались пустыри, кругом никого. Едем мы молча, погруженные в свои мысли, как вдруг сбоку, из какой-то канавы выскакивает пять человек. Двое из них схватили лошадь под уздцы, а один, по-видимому, главарь, крикнул нам: «Ну, вылезайте скорей». Мой родственник вылез. Стал вылезать и я. Как вдруг вижу, что главарь шайки подскочил вплотную к родственнику и страшным ударом ножа уложил его на месте. Не успел я вскрикнуть, как справа подбежал ко мне один из грабителей, щупленький, небольшого роста, и замахнулся на меня ножом. Однако я успел выхватить револьвер и выстрелил в упор. От неожиданности и испуга он громко воскликнул: «Ох, черт!» — после чего завыл от боли и левой рукой схватил кисть своей правой руки. Я, видимо, поранил ему пальцы. Увидев это, главарь крикнул ему: «Эх, ты, пиво! И садануть-то как следует не сумел!»

— Как вы сказали: пиво?

— Да, пиво; очевидно, воровская кличка. Тут разбойник, стоявший слева, ударил меня в шею ножом. Я упал, хотя и не потерял сознания. Однако, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, я притворился мертвым. Разбойники ограбили и раздели нас, после чего скрылись. Через час, примерно, случайные прохожие меня подобрали.

Полученные мною сведения, несмотря на то, что они были довольно скудны, видоизменили мои первоначальные предположения. «Пиво» — несомненная кличка, а раз кличка, следовательно, дело идет о сообществе, если и не профессиональных убийц, то во всяком случае людей, недалеко стоящих от обычной преступной среды.

Придя к такому выводу, я немедленно запросил петербургскую полицию и все провинциальные сыскные отделения, но отовсюду получил тот же ответ: «Преступника, зарегистрированного под кличкой „пиво“, не имеется».

Между тем шайка продолжала безнаказанно орудовать. Вскоре снова произошло дерзкое убийство. Был убит и ограблен богатый тряпичник, вернее — заправила и хозяин целой организации тряпичников. Вместе с ним был ранен один из его работников, показавший, что разбойников было четверо. Картина и приемы грабежа были все те же. Но почему теперь орудовали четверо, а не пять человек, как раньше? Сама собой напрашивалась мысль, что выбывший из шайки разбойник, покинул ее вследствие ранения руки при самозащите родственника Белостоцкого.

Я решил поместить во всех газетах обращение к врачам, прося сообщить начальнику московской сыскальной полиции, не обращался ли к ним в течение двух последних месяцев за медицинской помощью низкорослый субъект неинтеллигентного вида, тщедушного телосложения с пораненной кистью правой руки. Многие газеты, поместив это воззвание, описывали тут же и злодеяния, в которых обвинялся разыскиваемый преступник. Одновременно с этим мною были запрошены по тому же поводу все земские и частные больницы, равно как и амбулаторные пункты губернии.

Но все напрасно!..

Московские врачи совсем не отзывались, а больничные пункты дали отрицательные ответы.

Я пришел в полное отчаяние, вылившееся в раздражение, упреки в адрес служебного персонала в ничегонеделании. Я пытался играть на их самолюбии и, наконец, обещал служебную награду тому из них, кто первым откроет хотя бы малейший след в этом, право, заколдованном деле.

Дело это представлялось поистине необычайным. ряд месяцев упорной неослабевающей работы сыскальной полиции не дал никаких результатов.

На толкучках и рынках ограбленные вещи не появлялись, и, что удивительнее всего, — молчали банки, конторы и меняльные лавки, получившие от полиции подробные списки похищенных процентных бумаг и купонов. Между тем грабители, продолжая оставаться и орудовать в Москве, должны были время от времени ликвидировать награбленное? Конечно, для меня не было тайной, что в Белокаменной имеются мошеннические меняльные лавки, скупающие за полцены за-

ведомо краденные ценности, но представлялось невероятным, чтобы ни один купон хотя бы не проскочил в обращение и не был предъявлен к уплате третьими лицами в одно из кредитных учреждений Москвы. Тем более, что грабительской шайке удалось завладеть за это время не малым количеством процентных бумаг. Ценные бумаги были похищены и у старушек в Богородском и у убитого Белостоцкого. Жена Белостоцкого показала, что в день убийства муж ее должен был взять из своего вклада в банке на пятьдесят тысяч государственной ренты для внесения этой суммы в виде обеспечения в какое-то дело. В банке это обстоятельство подтвердилось и было установлено точное количество билетов, взятых покойным Белостоцким в день убийства и номера серий. Между тем Москва, как воды в рот набрала и молчит. В отчаянии, мне казалось, что не только Москва, но вся Россия, весь мир, все силы земные и небесные против меня.

Между тем жизнь продолжала течь своим порядком, выбрасывая на поверхность всю муть и накипь, столь присущие большим городам с их миллионным разношерстным населением. Передо мной продолжали проходить и мелкие воришки, и дерзкие хищники, и жалкие жулики, и наглые аферисты. В этой скорбной веренице промелькнул между прочими преступниками некий «доктор» Федотов. Этот «доктор» оказался бывшим ротным фельдшером, присвоившим себе самозванно звание доктора медицины и занимавшимся запрещенными законом абортами. При аресте он принес повинную и пожелал почему-то меня видеть. Я его вызвал к себе.

— Что скажете, Федотов?

— Да я, господин начальник, хотел вас попросить: не откажите, пожалуйста, если можете, облегчить мою дальнейшую тяжелую участь, а я вам сообщу кое-какие сведения.

— Хорошо, Федотов, я прикажу своему агенту указать на ваше полное и чистосердечное признание. Большого я сделать не могу.

— Уж вы, пожалуйста, постарайтесь!

— Хорошо, что могу,— то сделаю. Что же вы хотели сообщить мне?

— Я, видите ли, незадолго до ареста прочел в газете ваше обращение к врачам.

— Ну?..

— Так, вот... Месяца два тому назад ко мне обращался человек, отвечающий данным вами приметам. У него пальцы были поранены и запущены до того, что начиналась гангрена. Спасти их было нельзя, и я ему их отнял, все пять,

— Где же он живет?

— Этого не знаю.

— Как его фамилия?

— Мне он назвался Французовым. Говорил, что руку поранил на пивоваренном заводе, где будто бы работал.

— Как вы сказали, на пивоваренном?

— Да, на пивоваренном.

Мне тотчас же вспомнилась фраза:

— «Эх, ты, пиво! И садануть-то как следует, не сумел!..»

А, ведь за Драгомиловской-то заставой, как раз недалеко от места убийства Белостокского имеется большой пивоваренный завод.

Очевидно, теперь можно будет сдвинуться с мертвой точки и направить розыск по верному следу.

— Почему же, прочитав мое обращение, вы не сделали тогда же заявления? — спросил я Федотова.

Он конфузливо улыбнулся и промолвил:

— Ведь вы, господин начальник, обращались к докторам. А какой же я доктор?

— Не можете ли еще чего-нибудь сообщить по этому поводу?

— Да, кажется, сказал все, что знал. Разве еще то, что, в уплату за мой труд, он дал мне купон.

— Сейчас же с двумя надзирателями сходите домой и принесите этот купон.

После проверки купон оказался из тысячерублевой ренты, принадлежащей богородской попадье. Этим фактом еще раз подтверждалось участие одних и тех же преступников в ограблении Белостокского и старух в Богородском. Итак, я был на верном пути.

По данным московского адресного стола Французовых числилось человек двадцать, но все они оказались почтенными людьми, не внушавшими подозрений. Не более успешными оказались сведения, полученные мною и из провинции.

Отправясь лично на пивоваренный завод за Драгомиловскую заставу, я справился в конторе у заведующего личным составом о рабочем Французове. Порывшись в списках, заведующий заявил, что рабочего Французова у них нет и не было. Тут же вертевший-ся, весьма шустрый, конторский мальчишка, слышавший наш разговор, вдруг выпалил:

— А вот, на браге у нас работал Колька-Француз.

— Что, это его фамилия?

— Нет,— ответил мальчик,— фамилия ему Фортунатов, а это его прозвали французом.

— Почему же его так прозвали?

— Да потому, что у него была французская болезнь.

Я справился у заведующего о Николае Фортунатове и узнал, что последний взял расчет около трех месяцев тому назад и с тех пор на заводе не показывался. Из опроса рабочих выяснилось, что он уехал в деревню. В конторе же я узнал, что Фортунатов родом из деревни Московского уезда.

В тот же день я с агентами выехал туда. Фортунатова мы там не застали. Родители его давно не видели и, будто бы, не знали даже его адреса. Однако, при обыске, проведенном у них в избе, мы нашли элегантное шелковое платье, отделанное дорогим кружевом. На мой вопрос, откуда оно, старуха принялась рассказывать неправдоподобную историю о какой-то московской барыне, ей якобы его подарившей за долголетнюю и добросовестную доставку молока, сливок, сметаны и прочих молочных продуктов. Старуха путалась, сбивалась и, наконец, созналась, что платье это подарил ей сын, Колька. Я нашел нужным арестовать родителей Фортунатова и, привезя их в Москву, задержал при сыскной полиции.

По наведенным справкам быстро выяснилось, что платье это принадлежало той даме, что была зарезана вместе со своим спутником и с извозчиком по дороге на Воробьевы Горы.

Колькины родители оказались хитрыми и осторожными. Целых две недели добивался я у них адреса Фортунатова, но они упорно отговаривались незнанием.

Наконец, я решил прибегнуть к «подсадке».

Я приказал перевести Кольких родителей в поли-

дейский дом при Сретенском участке, сделав вид, что отказываюсь добиться от них правды и предоставляю суду разобраться в их деле. Дня за три до их перевода я направил в Сретинский полицейский дом свою агентшу под видом воровки. Об агентше знал лишь смотритель дома, которому мною были даны строгие инструкции не делать никаких послаблений в режиме моей служащей. Через пару дней для большего правдоподобия я одновременно перевел туда содержащуюся при сыскной полиции настоящую воровку.

Продержав всю эту компанию вместе с неделю, я освободил и вызвал к себе агентшу.

— Ну что? — спросил я ее.

— Старуха оказалась настоящим кремнем. Я и так, я и сяк, — молчит. Однако, за неделю я расположила ее к себе и хоть о деле она ни словом не обмолвилась, но при моем уходе отвела меня в сторону и дала адрес некоей Таньки, Колькиной любовницы. Старуха просит Таньку сходить к сыну и, буде милость его будет, прислать им, старикам, в тюрьму чайку и сахарку.

Моя агентша отправилась к Таньке и в точности исполнила поручение старухи. В то же время за Танькиной квартирой было установлено строгое наблюдение.

Один из моих агентов, красавец, переодетый почтальоном, пристал на улице к Таньке, познакомился, разговорился и проводил ее вскоре до квартиры Фортунатова.

В тот же вечер мы нагрянули с обыском. Преступник держал себя на первых порах крайне нагло.

— Ты Фортунатов?

— А хотя бы и Фортунатов!

— Вот ты-то нам и нужен.

— А зачем это я вам понадобился?

— Где работаешь?

— Нигде. Разве с такой рукой работать можно? Я с ними, кровопийцами и угнетателями бедняков, судиться еще буду!..

— Ну, ладно, француз, одевайся!

— И это уже знает!..

Обыск у Кольки решительно ничего не дал. Привезя его в сыскную, я тотчас же приказал привести «доктора» Федотова.

— Он?

Фельдшер лишь слегка кивнул утвердительно головой.

— Что, выдали? — со злою улыбкой спросил Колька у фельдшера.

— Ей-богу, нет! Что вы, что вы! Я сам здесь сижу, зацапали меня.

— Вот как? Сидите? А, пожалуй, и служите здесь? Много ли получаете?

— Да вот сами увидите, когда в одну камеру посадят.

— Эвона! Нашли дурака! В одну камеру! Знакомое дело: шалишь!

Я прервал этот диалог:

— Успокойтесь, не будете вместе сидеть,

Фельдшера увели.

— Ну, Фортунатов, полно дурака валять! Признавайся, ведь я все знаю.

— А что вы знаете, когда знать-то нечего?!

— Нечего?

— Нечего!

— А купон с убитой старухи в Богородском?

— Какой купон? Какая такая старуха?

— А тот самый, что ты дал доктору за отнятие пальцев.

— Да его получил на сдачу в какой-то лавке.

— В какой?

— Не помню.

— Эх ты, пиво, и садануть-то, как следует, не сумел!

При этом восклицании Колька побледнел, тяжело вздохнул и капли пота выступили у него на лбу. Но, оправившись, он продолжал все отрицать. На следующий день я вызвал к себе родственника Белостоцкого, почти оправившегося от ранения, прося его взглянуть на Кольку. Вместе с тем я предупредил его, что, в случае непризнания или неуверенности, он не должен при Кольке этого обнаруживать. Посмотрите молча на него и пройдите в следующую комнату. О результатах же скажете мне потом.

Так и сделали: Фортунатов был вызван ко мне в кабинет. Присутствующий при этом пострадавший, взглянув на него, простился со мной и вышел из комнаты. Написав какую-то бумажку и выдержав надле-

жащую паузу, я последовал за ним, оставив Кольку с двумя надзирателями. Колька, считавший свою жертву давно убитой, конечно, не обратил на нее никакого внимания.

— Ну, что? — спросил я пострадавшего.

Он развел руками:

— По росту и фигуре похож, а Бог же его знает!

— Вы постарайтесь точно припомнить.

— Да как тут припомнишь? Вот если б по испуганному крику, он до сих пор звенит в моих ушах.

Задача была трудная. Однако я решил попытаться счастья. Позвав надзирателя, я сказал:

— Когда я буду его допрашивать, то вы, стоя за спиной Фортунатова, незаметно приблизьтесь и двумя пальцами ткните его в бок, в щекотливое место.

Результат превзошел мои ожидания.

Колька, всецело поглощенный допросом, напряженно следящий за каждым своим словом, не заметил приблизившегося к нему надзирателя и, получив вдруг шенкель, от неожиданности и испуга дико вскрикнул:

— Ох, черти!!

При этом крике раненый, находившийся в соседней комнате, бомбой влетел в кабинет со словами: «Он! Он! Сомнений никаких: тот же голос, та же интонация! Ах, он негодяй! Ах, он мерзавец! Ах, он убийца проклятый!», — и с поднятыми кулаками он кинулся было на Кольку. Его оттащили. Не желая терять приятный психологический момент и, пользуясь полной обалделостью Кольки, я стукнул кулаком по столу и крикнул ему:

— Ну, живо, признавайся! Видишь, сами мертвые встают из гробов и уличают тебя!

Колька заметался, с ужасом поглядел на свою жертву, видимо, признал ее и, с трясущейся челюстью, бессвязно залепетал:

— Да, я что? Я ничего. Они же меня ранили...

— Ах, «они же меня ранили»? Довольно!

Колька, поняв, что проговорился, бухнулся на колени и принес полную повинную.

Оказалось, что шайка, так долго терроризировавшая Москву, состоит из пяти человек. Атаманом ее является Сашка Самышкин, по прозвищу «семинарист», а членами состоят: слесарь пивоваренного завода, какой-то мясницкий ученик, как назвал его Колька, Коль-

кин брат, да он сам. Адреса их были указаны Колькой, кроме адреса главаря, ему неизвестного. В то же день грабители были арестованы, причем были найдены многие вещи и ценности, похищенные ими за последние месяцы. Все они рассказывали ужасы про своего атомана. По их словам, это был не человек, а зверь: в убийстве людей он находил какое-то наслаждение, пролитие человеческой крови давало ему какую-то своеобразную сладостную отраду. По их словам, при убийстве в Богородском, Сашка Семинарист мучил свои жертвы в течение нескольких часов. Дисциплина в шайке была строжайшая. Так, слесарь однажды, исполнив неточно приказание Сашки, получил от него немедленно пулю в грудь и был ею довольно тяжело ранен. Сашку все остальные преступники, видимо, ненавидели, но еще больше боялись.

При дележе добычи они собирались где-нибудь на пустырях и тут же Сашка назначал место, день и час их будущей встречи. В промежутках между этими сборищами Сашка самолично намечал очередную жертву и, придя на свидание, отдавал лишь соответствующие распоряжения. Об послушании, отказе или споре не могло быть и речи. Адреса Самышкина никто не знал.

Арестованные убийцы представляли собой полное ничтожество. Особенно отвратное впечатление производил «мясницкий ученик»: среднего роста, с неимоверно широким туловищем, с руками, висящими чуть ли не ниже колен, он внешностью своей напоминал орангутанга. Впрочем, нам эта горилла дала довольно ценное указание. Так как часть процентных бумаг от последнего грабежа ввиду их разной стоимости не могла быть немедленно поделена, то Сашка намеревался разменять бумаги на деньги и назначил расчет через пять дней. «Мясницкий ученик» знал при этом, что финансовые операции свои Сашка всегда проводил в одной и той же меняльной лавке на Ильинке, которую и указывал, предполагая, что, ввиду предстоящего расчета, Сашка за эти дни непременно ее посетит.

Внешность Семинариста преступники описали самым подробным образом: высокий рост, смуглое, красивое лицо, черные, небольшие, колечком закрученные усы, сверлящий взгляд, походка с развалыцем. Они

предупредили при этом, что Сашка живым не сдается и непременно окажет всяческое сопротивление.

Я установил немедленно тщательное наблюдение за меняльной лавкой, поставив во главе опытного надзирателя Евдокимова по прозвищу «Хитровый батя», дав ему на подмогу надзирателя Белкина, отличающегося огромной силой, и десять агентов. Агенты, переодетые посыльными, дворниками, извозчиками, дежурили три дня, как вдруг на четвертый день появился Сашка. Ему дали войти в лавку. Не желая понапрасну рисковать людьми, Евдокимов решил отказаться от лобовой атаки, дав Сашке выйти из меняльной лавки, и, пропустив его мимо себя, быстро, вместе с Белкиным, подошел сзади и крепко схватил его под левую, а Белкин под правую руку. Сашка рванулся было, но не тут-то было!

Тогда Сашка прибег к хитрости. Он громко обратился к прохожим за помощью, разыгрывая из себя жертву не то какого-то насилия, не то нападения. И в самом деле, картина была странная: мирный на вид человек, просящий помощи и отбивающийся от почтальона и посыльных, висящих по его бокам.

Когда, извещенный по телефону, я примчался на автомобиле на Ильинку, то застал Евдокимова и Белкина в довольно затруднительном положении: толпа, явно сочувствующая Сашке, сильно напирала на них. Став во весь рост в автомобиле, я громко крикнул:

— Я — начальник сыскной полиции, Кошко, и приказываю немедленно задержать этого величайшего преступника и убийцу!

Эффект получился огромный: народ сразу отхлынул. Усадив Сашку в автомобиль, мы повезли его на Гнездиковский. Описанные приметы Сашкины были довольно точны. Меня поразило в его лице выражение непреклонной воли и власти с примесью презрения.

— Как твоя фамилия? — спросил я.

Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил:

— Вы меня, пожалуйста, не «тыкайте», не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы.

— Хорош интеллигент, что и говорить! Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого!

Сашка пожал плечами и замолчал.

Вызвав предварительно к себе в кабинет всю «честную компанию», то есть слесаря, «мясницкого ученика» и француза с братом, я потребовал и Сашку. Встреча атамана с шайкой была довольно любопытна. Сашка с величайшим презрением окинул взглядом всех членов шайки и злобно прошептал:

— Что, сволочи, выдали?

Разбойники пришли в неопишное волнение, смертельно, видимо, боясь даже скованного по рукам атамана. Сашка не считал нужным что-либо скрывать и с невероятным цинизмом подробно рассказал о всех своих злодеяниях. Он оказался сыном городского головы одного из уездных городов Пензенской губернии. Дошел в свое время до третьего класса Духовной Семинарии, вследствие чего, очевидно, и приобрел свою кличку. Отца и матеку свою он ненавидел и заявил мне прямо, что намеревался в недалеком будущем отправить их на тот свет. Смелости Сашка был невероятной. Вскоре же после ареста он пытался бежать. Допрашивался он моим чиновником Михайловым в кабинете последнего. Кабинет был расположен на первом этаже. Из-за жары окна были открыты настежь. Перед Михайловым на столе лежал маузер и в тот момент, когда он нагнулся поднять что-то с полу, скованный по рукам Сашка быстро подскочил к столу, обеими руками схватил револьвер, оглушил им по голове Михайлова, после чего быстро прыгнул в окно и... очутился в объятиях стоящего под окном городского.

Сашка был приговорен судом к повешению, но по амнистии, следовавшей к Романовскому юбилею, наказание ему было смягчено до двадцати лет каторжных работ.

Февральская революция освободила Сашку, пожелавшего якобы отправиться на фронт. На самом деле Сашка явился в Москву, где и принялся за прежнее. Он не забыл свести счеты со слесарем и «мясницким учеником», убив их обоих. Большевикам Сашка чем-то не угодил и был ими расстрелян в 1920 году в Москве.

ПСИХОПАТКА

В приемной при московской сыскной полиции был вывешен, по моему распоряжению, плакат, в котором говорилось, что начальник сыскной службы принимает по делам службы от такого-то и до такого-то часа, но в случаях, не терпящих отлагательства, — в любой час дня и ночи.

Однажды как-то ранней весной я засиделся в служебном кабинете до позднего вечера, разбираясь в ряде сложных дел, как вдруг, около полуночи, слышу, подкатывает к управлению автомобиль и вскоре дежурный чиновник докладывает:

— Господин начальник там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть.

— Меня? В такую пору?

— Да, я ей предлагал в общем порядке сделать заявление, но она, указывая на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательства и непременно желает обратиться к вам лично.

Я с досадой пожал плечами:

— Ну, что же, зовите.

Ко мне в кабинет вошла еще не старая женщина, довольно миловидная, вся в черном, с крепом на голове и, подойдя к столу, упала в кресло. Закрыв лицо платочком, она, слова не говоря, принялась рыдать.

— Бога ради, сударыня, успокойтесь, не волнуйтесь, расскажите, в чем дело.

Барыня продолжала рыдать и вскоре у нее началась икота, нервный смех, словом, все признаки истерики. Я поспешно предложил стакан воды и, дав время успокоиться, снова спросил:

— Скажите, что случилось?

— Ах, мое горе безгранично, я так потрясена.

— Я вас слушаю, сударыня, говорите.

— Господин начальник, у меня пропал кот Альфред!..

Я от неожиданности разинул рот, вытаращил глаза, а в душе поднялась волна негодования.

«Ах ты, дурища этакая!..» — подумал я, но не успел произнести слова, как моя странная посетительница затрещала безудержно, безнадежно, не переводя дыхания:

— Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот, с такими зелеными глазами и огромными, пушистыми усами, — и дама, вытаращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота.

— Послушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии и меры к розыску вашего животного будут приняты.

— Ах, как вы можете, господин начальник, называть постигшее меня горе пустяками!.. Хороши пустяки, когда я не ем, не сплю и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни (тут дама истерично взвизгнула), да и как можно было не обожать его? Ведь это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, до чего же он был умен! Скажешь ему, бывало, Альфред, прыг мне на плечо, и он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече!..

— Послушайте, сударыня, — начал было я, но она перебила:

— И заботилась же я, господин начальник, о моем милом котике! Я не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадать все его желания.

Дама опять заплакала.

— Так, может, его и никто не крал? — сказал я, сдерживая улыбку. — А он просто покинул вас и бродит сейчас где-нибудь по крышам. Не забывайте, сударыня, ведь март месяц!

Моя собеседница презрительно на меня поглядела и, пожав плечами, сухо, но с достоинством, промолвила:

— Мой Альфред никогда подобной подлости не сделал бы.

Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никандрова.

При московской сыскной полиции имелся так называемый летучий отряд из сорока, примерно, человек. В него входили спецалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись: лошадиники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики и театралы, — названия, происходящие от сферы их деятельности. Для читателя такое подразделение покажется, быть может, и странным, между тем оно необходимо, так как, во-первых, кражи резко отличаются друг от друга способами их выполнения, а, во-вторых, места сбыта ворованного различны. Следовательно, весьма важно иметь постоянных агентов, специализирующихся каждый в своей области.

Вызванный мною Никандров был кошатником и собачником, и проявлял недюжие способности в своем деле. Словно сама природа создала его для этого амплуа. Даже в его внешности было что-то собачье: сильно вывернутые ноги, как у таксы, манера склонять голову набок, прислушиваясь, и способность при волнении заметно шевелить ушами.

Описав приметы пропавшего кота, я приказал Никандрову на этот раз особенно постараться.

После долгих слез, заклипаний и мольбы, дама, наконец, отпустила мою душу на покаяние и, вернувшись домой, я, утомленный, крепко заснул.

Во сне я увидел Альфреда.

На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, я был потревожен Никандровым, вошедшим ко мне с большим узлом в руках.

Альфред был найден!

Когда я на письменном столе развязал узел, в нем оказался, действительно, очаровательный, сибирский кот, который, изогнув колесом затекшую спину, принялся разевать розовый ротик и беззвучно мяукать.

— Куда прикажете его деть? — спросил Никандров.

— Да посадите пока в свободную камеру, но не забудьте закрыть окно.

— Слушаю, господин начальник.

Я позвонил даме по телефону, прося явиться за найденным Альфредом. В трубку я услышал лишь задушенный крик.

Через четверть часа она примчалась на автомобиле и сияющая ворвалась ко мне в кабинет.

— О, благодарю, благодарю вас, господин начальник!.. Не даром же я обратилась именно к вам! Я знала, что нет для вас невозможного. Неужели, неужели же мой Альфред найден?!— и она крепко потрясла мне руку.— Но где же он?

— Сейчас вам его принесут. Он посажен в камеру.

— О!.. В камеру!.. Господин начальник!..— укоризненно протянула она.

— Не мог же я его хранить на сердце, сударыня?!

— Конечно, ну, а все-таки!..

Трудно описать дикую радость ее, когда появился Никандров, любовно неся в руках Альфреда. Слезы умиления, безумные поцелуи, тисканье, прижимание к сердцу. Альфред тут же проявил свой недюжинный ум и явно признал хозяйку.

— Господин начальник, разрешите мне поблагодарить вашего доброго, милого, симпатичного Никандрова?

— Пожалуйста, сударыня, я ничего не имею...

Каково было мое удивление, когда она вынула пятисотрублевую бумажку, прося передать ее Никандрову.

— Нет, нет, сударыня, такой суммы я принять ему не позволю: вы избалуете мне людей. Да, наконец, что же вы хотите, чтобы завтра же Альфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение.

Наконец, уговорились на ста рублях, и обрадованный Никандров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.

НЕСКОЛЬКО ПОРТРЕТОВ

Должность начальника сыскной полиции имеет ту своеобразную особенность, что по характеру своих обязанностей она привлекает к себе людей не только различных социальных положений, но и обращающихся к ней по разнообразным, и часто весьма курьезным, поводам. Начальник сыскной полиции является нередко своего рода духовником и поверенным душ людских, но еще чаще выслушивает ряд вздорных претензий и жалоб. И какие только типы просителей не проходят перед ним! Я в одном из предыдущих рассказов описал уже психопатку с пропавшим котом. Но вот еще несколько курьезных портретов моих нередких посетителей.

Разиня

— Господин начальник, там какой-то человек желает вас видеть.

— Что ему нужно?

— Не говорит.

— Ну, просите.

В кабинет степенно входит человек купеческой складки. Ищет глазами образ; найдя, — не торопясь, крестится и, отвесив мне чуть ли не поясной поклон, нерешительно приближается к столу.

Я указываю ему на кресло.

— Присаживайтесь!

— Ничего-с, мы и постоим-с.

— Да, уж, что ж стоять! Разговаривать-то сидя ловчее. Садись! Садитесь же!

Мой посетитель садится на край кресла и, оглаживая свою рыжеватую лопатообразную бороду, гля-

дит на меня умиленно кроткими, голубоватыми глазами. В комнате распространяется своеобразный и довольно сложный запах: какая-то смесь дегтя, пота, чая и черного хлеба.

— Ну, что же вы мне скажете?

Он откашливается и высоким тенором начинает свой рассказ:

— Мы сами будем Ярославские. Работаем по торговой части. Барышей огромных не зашибаем, но, между прочим, Бога гневить не будем: кормимся. Вот и нынче пригнал я в Москву-матушку вагон телятники, продал его без убытку-с. Хорошо-с! Захотелось это мне побаловаться чайком. Ну, что же, была бы охота! Захожу это я в трактир, что «Якорем» зовется. А мы про здешние трактиры московские слышамшись, не только оберут тебя, как липку, а и самого украдут и цыганам спустят, коль смотреть в оба не будешь. Ну-с, хорошо-с! Вхожу это я, а сам думаю: «Смотри, Митрич, не зевай! Не ровен час!» Слуга в раздевальне мне говорит:

— Купец, снял бы шубу, а то сопреешь!

«Шалишь,— думаю,— не на дурака напал! Так я тебе и поверил!»

— Ничего, милый, мы привыкли,— говорю я.

А шубу я себе справил степенную, с широким бобровым воротником,— ну, словом, первый сорт. Да нашему брату иначе в Москву и носа не показывай, коммерция того требует, опять же и для кредита. Ну, так вот-с, вхожу я в зал и усаживаюсь за столик, а шубы не скидываю. Выпил чайник-другой и взопрел. Давай, думаю, скидану-ка я шубу здесь же, на спинку стула, и для верности сяду на нее, куда ж ей в таком разе деваться? При мне и останется. Так и сделал.

И в такое это я, ваше высокородие, пришел в благодушное равновесие, что и сказать нельзя. Без шубы стало вольготно, теляток хорошо продал, на сердцах легко и весело. Выпил это я, не торопясь, еще парочку чайников, рассчитался со слугою, даже гризенику ему, мошеннику, отвалил, да и встаю, чтобы облечься в шубу. Глядь! Мать честная?! А воротника на шубе как не бывало! Я и сюды, я и туды, спрашиваю я половых, а они только смеются:

— Надо было, купец, шубу-то у швейцара оставить, все бы было цело!

Они, поди же, мошенники, сами же и обкарнали ее. Ну ж и жулье московское! Век буду жить — не забуду и внукам прикажу помнить! Явите Божескую милость, господин начальник, прикажите разыскать воротник! Ведь двести целковых заплачено, не сойти мне с этого места!..

На хал

Сыскной полиции стало известно, что вновь вернулся в Москву, отбыв свой срок высылки, некий ловкий шулер Прутянский. По дошедшим сведениям Прутянский принялся за старое и я приказал проинформировать в номере его, в гостинице, обыск. Обыск ничего не дал. И я, конечно, забыл об этом ничтожном случае.

На следующее утро мне докладывают, что какой-то чиновник в форме желает меня видеть.

— Просите.

С шумом раскрывается дверь моего кабинета и высокий осанистый господин, с гордо поднятой головой, в форменном кителе Ведомства Учреждений Императрицы Марии и с форменной фуражкой в руках быстро подходит к столу, небрежно бросает на него фуражку и, не дожидаясь приглашения, плюхается в кресло.

— Что вам угодно?

— Да, помилуйте! Это черт знает, что такое! Вчера ваши люди ворвались ко мне в гостиницу, перерыли все вверх дном и, не извинясь даже, ушли. Да ведь это что же такое? Житья нет, если каждый будет безнаказанно врывать в твое жилище! Да я, наконец, буду жаловаться на вас в Петербург, если вы только не обуздаете ваших олухов!

— Как ваша фамилия?

— Коллежский советник Прутянский, — бросил он небрежно.

Будучи уже взбешенным чрезвычайно наглым тоном моего посетителя да услышав еще фамилию известного, зарегистрированного шулера, я потерял вся-

кое самообладание и, стукнув изо всей силы кулаком по столу, крикнул:

— Вон! Сию минуту вон, нахал этакий! Да я тебя, шулера, не только из кабинета, но и из Москвы немедленно выставлю! Вон, говорят тебе!

И, встав из-за стола, я стал наступать на него. Нахалы, обычно, бывают не менее трусливы, чем наглы. Это вполне подтвердилось на Прутынском. Забыв на столе фуражку, он кинулся к выходу и, пугливо на меня оборачиваясь, стал царапаться и ломиться в шкаф, стоящий у стены рядом с дверью.

— Куда в шкаф лезешь? Казенное имущество ломаешь! — крикнул я, притопнув.

Наконец, коллежский советник выбрался из кабинета, оставив на паркете следы своего необычайного волнения.

Гуляка

Ночью меня вдруг будит телефон.

— Алло, я вас слушаю, — проговорил я хрипло.

В трубке послышался полупьяный голос.

— Позвать ко мне главного начальника всей сыскной полиции Москвы и... и ее уездов!

— Он самый у телефона. Что вам угодно?

— С вами говорит коллежский регистратор Семечкин.

— Очень приятно.

— Мне то-о-же!..

— Что вам от меня нужно?

— Да как же что? Помилуйте! Это Бог знает что?!. Я говорю чеку, че-ло-о-веку... Подай еще графинчик водки, а он заявляет: «Поздний час, господин, из буфета не отпускают». И что значит «поздний, час», когда, строго говоря, ранний... Да, наконец, опять же Лелечка... он меня компер... коммер... компрометирует в ее глазах. Это же не порядок... Как вы находите?

— Конечно, конечно! Вы правы. А где же это вас так компрометируют?

— Как?.. Неужели вы не знаете, а еще главный начальник всех сыскных уездов?! Странно.

— Представьте, знал, да забыл!

— В «Слоне», в «Слоне», стыдитесь!

— Где же вы там: в общем зале или в кабинете?

— Что за вопрос?!. Конечно, в зале! Моя Лелечка не станет шляться по кабинетам. Мы сидим справа от входа: я, Лелечка, да приятель, Ладонов... Только он напрасно думает... Ничего у него с Лелечкой не выйдет!..

— Хорошо! Вы погодите немного, а я прикажу сейчас хозяину отпустить вам графинчик.

— Хорошо. Я этой услуги вам не забуду! Мерси!

По моему приказанию один из агентов тотчас же направился в ресторан «Слон» и, арестовав Семечкина, водворил его на остаток ночи в полицейскую камеру. На следующее утро мы встретились. Семечкин оказался консисторским служащим, вспыскивавшим вчера в «Слоне» свой первый, только что полученный, чин. Это был добродушнейший и безобиднейший человек, лет двадцати пяти, скромный, конфузливый.

— Ради Самого Господа, господин начальник, не оглашайте моего глупого поступка: и со службы-то меня выгонят, и жена съест живьем!

— А как же это вы, господин коллежский регистратор, решились столь бесцеремонно беспокоить меня, да еще среди ночи?

— Видит Бог, был пьян, пьян, как стелька!., Да разве трезвый я бы посмел?!

Пожутив его еще немного, я отпустил Семечкина на все четыре стороны и, конечно, не возбудил о нем дела.

Радость Семечкина была безбрежна.

НЕДОСТОЙНЫЙ ПЕРЕЙ

Как-то в 1907 году в петроградскую сыскную полицию обратился сенатор Х. Начальник полиции В. Г. Филиппов отсутствовал и я, в качестве помощника, заменяя его, принял сенатора.

Ко мне вошел старик лет шестидесяти весьма почтенного и благообразного вида и, сев в предложенное кресло, с опаской огляделся и негромким голосом заговорил:

— Я обращаюсь к вам по весьма щекотливому и, разумеется, совершенно секретному делу. В моей семье произошло несчастье, и, быть может, вы сможете, если и не ликвидировать его совсем, то, по крайней мере, ослабить его печальные последствия.

— Я к вашим услугам, ваше превосходительство.

Сенатор, беспокойно взглянув на меня, продолжал:

— Видите ли, у меня сбежала дочь,— и он сделал паузу. Затем:

— Это бы еще куда ни шло! Мало ли бывает: молодость, романы, любовь и подобные бредни. Но несчастье в том, что выбор моей дочери пал черт знает на кого. Ну, будь там какой-нибудь корнет, гусар, адвокат, артист, наконец, готов примириться на длинноволосом студенте, а то, подумайте,— кучер! Грязный, неопрятный мужик с дегтем, кислятиной и вшами! Какая муха ее укусила,— ума не приложу. Во всяком случае, ни воспитание, ею полученное, ни среда, ее окружающая, не могли привить подобного вкуса. Я просто теряюсь в догадках, что это: эротическое помешательство или желание опроститься по рецепту Толстого? Быть может, я выжил из ума, отстал от века, впал в детство, но решительно отказываюсь понимать поведение моей Наточки.

Лошадиный Ромео умчал ее куда-то и вот уже несколько дней, как об ней ни слуху, ни духу. Я очень, очень прошу вас, помогите мне разыскать мою девочку. Но, ради Бога, никакой огласки, никакого скандала — это так важно и для ее чести, и для моей репутации.

Я успокоил, как умел, старика, обещав немедленно приняться за поиски.

Отыскать Тимофея Цыганова не представляло труда, так как имя его нам дал сенатор, а улицу, дом и квартиру — адресный стол. Я решил вызвать его в сыскную полицию и поговорить сначала по-хорошему.

Ко мне в кабинет вошел здоровенный малый, краснощекий, с длинной черной бородой лопатой и волосами, обильно смазанными деревянным маслом и подстриженными в скобку.

— Здравствуй, Тимофей!

— Здравия желаю, господин начальник!

— Послушай, братец, что ты там затеял?

— Это вы насчет чего же изволите?

— Полно, Тимофей, притворяться! Сам знаешь, что насчет сенаторской дочки говорю.

— Ах, эвона про что!

— Ну, так как же?

— Так что? Счастье мое, линия, стало быть, такая подошла!

— Счастье-то счастьем! Но, подумай, что же ты делать с нею станешь? Разве она тебе пара?

— Известно: делать буду то, что обыкновенно делают. А пара она мне, али нет, — это уж дело мое.

— Что же ты воображаешь, что сенатор на это согласится?

— А, пуцай их, не соглашаются! Нам это безразлично!

— Как безразлично? Прикажет, — и разъедят вас.

— Ну, уж этому не бывать! Где это видано, чтобы мужа с женой без их воли разъединяли? Такого и закону нет.

— Да вы разве женаты?

— Как же-с! Поженившись законным браком.

— Кто же вас венчал?

— Известное дело — поп, кому же другому?

— Какого же прихода?

— А, вот, память отшибло — не помню! — сказал с пропией Тимофей.

— Полно вздор городить! В какой церкви вспечались?

— Не желаем говорить — да и все тут! Хотите, узнавайте сами.

Делать с ним было нечего и, отпустив его, я приказал агентам проверить во всех церквях брачные записи по метрическим книгам. На что ушло три дня.

В конце этого срока заехал ко мне опять сенатор Х. — справиться о ходе дела. Я передал ему мой разговор с Тимофеем и старик, узнав о вновь приобретенном «бо-фисе», схватился лишь за голову и упал в кресло. Несколько отдышавшись и обдумав положение, он с грустью сказал:

— Ну, раз дело дошло до свдьбы, то тут не поможешь. Одно осталось, это пообтесать как-нибудь этого болвана, да пристроить куда-нибудь в глухую провинцию на службу. Другого выхода у меня нет. Будьте добры, забудьте всю эту грустную историю и прекратите производство по этому делу.

Между тем из ревизии церковных книг выяснилось, что Тимофей Цыганов и девица Х. такого-то числа были повенчаны настоятелем церкви Литовского тюремного замка отцом Владимиром Воздвиженским, причем запись эта в книге была вычеркнута и сбоку на полях имелась приписка отца Владимира: «записано по ошибке».

Надо думать, что отец Владимир пронюхал за эти дни о поднятой тревоге и, узнав, что повенчанная им девица — дочь сенатора, струсил и вычеркнул запись. Будучи опрошенным, он заявил, что, действительно, собирался совершить обряд венчания и заранее заготовил запись в книгу, но, имея в виду недоставления молодыми нужных документов, — венчать отказался и запись вычеркнул.

Подробные справки, собранные об отце Владимире, оказались ужасающими. Он принадлежал, очевидно, к тому редкому типу православных пастырей, не верующих ни в Бога, ни в черта и видящих в

своим священстве лишь доходную статью, стремясь извлечь из нее максимальную выгоду, не брезгая при этом никакими средствами. Вместе с тем, и частная жизнь отца Владимира была порочна: вечные кутежи, иногда даже оргии, карты и женщины, — вот его обычное времяпрепровождение. В числе собутыльников его значился и пономарь церкви Литовского замка, приятель его, некий Афионов.

Добытые сведения об отце Владимире усилили, конечно, наши подозрения и дело о нем продолжалось.

Запись в метрической книге почерком своим отличалась от приписки на полях, сделанной отцом Владимиром. Мы раздобыли, прежде всего, образец почерка пономаря Афионова и авторство его было немедленно установлено. Афионов оказался невероятным трусом и, будучи припугнут предстоящей тяжелой карой в случае упорства, быстро сознался во всем и рассказал, как было дело. Оказалось, что венчание свершилось за три тысячи рублей, причем невеста предъявила в виде документа, всего какую-то визитную карточку с рекомендательной надписью. Свидетелями были: он, пономарь Афионов, и тюремный сторож Иванов. Мы арестовали обоих, после чего был приглашен в полицию и отец Владимир.

В кабинет вернувшегося В. Г. Филиппова, где находился и я, был приглашен обвиняемый священник: откормленный человек с рыжей бородой, волнистыми кудрями, в шелковой рясе. Держать себя он пытался приветливо, независимо и боголепно.

— С хорошей погодой вас! — сказал он, подавая руку и взмахивая ею как-то сверху вниз.

— Садитесь, батюшка.

— Отчего-с, с превеликим удовольствием!

— Так как же, батюшка, стало быть, не венчали и свадьбы не было?

— Господи ты, Боже мой! Да разве бы я посмел без документов! Нет, господа! Свадьба — дело не шуточное. В таинстве этом, освященном Церковью Апостольской, не только духовно соединяются две жизни, но и преподается им обязанность к интимному сближению полов с целью продления рода человеческого...

В. Г. Филиппов прервал его.

— А, знаете ли, батюшка, что на Голгофе, рядом со Спасителем, висел и вор на кресте, а вот здесь — крест висит на воре! — и он указал на наперстный крест на батюшке.

— Однако! — изумленно сказал священник, но, оправившись и приняв прежний елейный тон, он продолжал:

— Оно, конечно, оскорблять меня вы здесь можете, я — беззащитен; ну, а все-таки, почту своим долгом довести ваши слова до сведения Преосвященнейшего.

— Итак, батюшка, решительно: не венчали?

— Да лишусь я своего иерейства, ежели лгу! — и отец Владимир, встав и повернувшись к иконе, широко перекрестился.

— Семенов! — крикнул я. — Введите-ка Афонова.

Дверь раскрылась и на пороге появилась сконфуженная фигура пономаря.

Он как-то по-идиотски осклабился и, обращаясь к отцу Владимиру, неожиданно радостно объявил:

— Володя, а я сознался!

— Ну, и прохвост! — сказал сухо, но убедительно батюшка.

За свои свадебные спекуляции отец Владимир был лишен сана и приговорен к полутора годам арестантских работ.

КРАЖА В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

Эта дерзкая кража произошла весной, в 1940 году, Среди сладкого сна, часа этак в четыре утра, я был разбужен телефоном. Дежурный чиновник мне сообщил об известии, только что переданном ему квартальным надзирателем из Кремля. Сообщение было весьма тревожное, а именно: часовой, дежуривший у кремлевской стены, близ Успенского собора, услышал звон разбиваемого стекла. и в одном из окон собора заметил силуэт человека, по которому и выстрелил, но, видимо, безрезультатно. Духовные власти уже оповещены и сейчас приступят к открытию и осмотру собора.

Я в минуту оделся и помчался на автомобиле в Кремль. К собору я успел как раз к открытию дверей. С несколькими чинами полиции вошел я в храм и, приступив сначала к беглому, поверхностному осмотру, обнаружил сразу кощунственное злодеяние: слева от царских врат на солее, вплотную к иконостасу, находилась икона Владимирской Божьей Матери в огромном киоте, вернее божнице. Божница эта была в сажень высотой, аршина полтора шириною, с дверцей, и видом своим походила несколько на шкаф. Икона Владимирской Божьей Матери была древней святыней Руси и любимейшей царской семьи, так как иконой этой был благословен на царство первый из дома Романовых — царь Михаил Федорович. Золотая риза образа была богато украшена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собою огромный квадратный изумруд, величиной чуть ли не со спичечную коробку, зеленевший среди сверкающих бриллиантов. При осмотре иконы оказалось, что камни эти вместе с кусками золотой ризы были грубо вырезаны каким-то острым

инструментом и исчезли бесследно. Живопись самой иконы не была повреждена. На дне киота виднелись золотые обрезки и пыль, тут же валялся окурок. Вор, видимо, совершал свое дело в самой божнице, прикрыв за собой дверцу для уменьшения шума.

Едва я кончил этот осмотр, как храм стал наполняться представителями властей предрежащих. Кого тут только не было: и градоначальник, и прокурор, и митрополит Владимир, и представитель дворцового ведомства, и проч., и проч. Такой необычайный интерес к случившемуся объяснялся, конечно, не только размерами и дерзостью кражи, но также и живой заинтересованностью в происшедшем Государя Императора и всей царской семьи.

Я решил приступить к тщательному осмотру собора, дабы точно установить, не скрылся ли преступник или не скрыл ли он награбленного в самом храме. Так как Успенский собор велик, то мне пришлось вытребовать до пятидесяти агентов и, во главе со следователем по особо важным делам К., приступить к обследованию. Осмотр этот оказался нелегким и занял весь день. Трон Бориса Годунова, гробницы патриархов, купол, крыша, равно как и самые потаенные уголки собора были нами обследованы, но, увы, безрезультатно. Особенно много времени занял иконостас, строго говоря, не иконостас, а та сплошная масса икон, что тянется во много рядов вдоль южных и северных стен собора. Иконы эти прочно скреплены друг с другом и стоят сплошными щитами, причем между задними сторонами икон и стенами храма находится пустое пространство, с пол-аршина шириною. Пространство это внизу шире, так как перед нижними иконами проходит сплошная полка, или, скорее, широкая и высокая ступень, высотой, примерно, в аршин и шириною — вершков в десять. Все это пустое пространство сверху донизу и вдоль всех стен было тщательно обшарено нами с помощью длинных шестов, но тщетно.

На правом подоконнике узкого окна, расположенного над иконами, а, следовательно, на значительной высоте от пола, были обнаружены следы потревоженной вековой пыли, но весьма не ясные и мало говорящие.

Стекло левого окна было разбито, несмотря на полуввершковую толщину. Окно это, впрочем, как и все окна собора, было до того длинно, но узко, что напоминало собою скорее бойницу и вряд ли человек мог из него вылезти. Однако, для большей достоверности, я отправил самого тощего и маленького агента с чисто детским телосложением для осмотра его, и оказалось, что и его комплекция вдвое шире окна.

Вечером, к концу осмотра, в храм приехал опять митрополит Владимир и, оборотясь к следователю К., спросил: окончен ли осмотр и может ли храм быть открыт для обычных богослужений? К., не спросив моего мнения, ответил Владыке утвердительно, заявив, что грабитель, конечно, выбрался из храма. Я был решительно обратного мнения. Ведь, раз из окон вылезти нельзя, двери же храма с момента выстрела часового по силуэту в окно и до нашего прибытия, не расставались со своими пудовыми замками и засовами, следовательно, вор должен находиться в храме, и надлежит поставить засаду. Эти соображения я высказал Высокопреосвященнейшему и категорически просил на время отменить богослужения, в противном случае, я снимаю с себя ответственность за исход дела. Мои настояния возымели действие, и митрополит хотя и неохотно, но согласился их уважить.

В Петербург были посланы тотчас же телеграммы о случившейся краже, и вскоре был получен ответ от министра внутренних дел, что Государь Император приказывает приложить все силы и средства как к розыску похищенного, так и к обнаружению виновного.

Итак, я оставил в соборе засаду из двух надзирателей и двух городских.

Прошла ночь — ничего. Прошел день — тоже. Прошла еще бесплодная ночь и митрополит Владимир прислал мне сказать, что храм необходимо открыть. Я воспротивился, и он уступил. Прошли еще сутки безрезультатно, и Высокопреосвященнейший возобновил свои настояния. С огромным трудом мне удалось выпросить у Владыки еще сутки, по прошествии которых он решительно потребовал снятия засады, причем мне вежливо было дано понять, что, в сущности, не я, а следователь К. руководит след-

ствием и паходит со своей стороны засаду излишней. Кое-как мне удалось выпросить у Владыки еще несколько часов.

Тяжелые минуты настали для меня. Неужели же, дело, волнующее самого Императора, приковавшее к себе внимание обеих столиц, будет мною провалено? Обыски, организованные на Петровке, Сухаревке и прочих обычных местах сбыта краденого, не дали также ничего. Допрос профессиональных, зарегистрированных воров не был успешнее. А тут, как на грех, случилось за эти же дни два крупных происшествия: это убийство девяти человек в Ипатьевском переулке и получение трехсот тысяч рублей по подложной ассигновке из Губернского Казначейства, что, конечно, дробило силы сыскной полиции.

Мрачно сидел я в своем кабинете. Служебное самодушие страдало. Встревоженное воображение рисовало самые безотрадные перспективы.

Вяло зазвонил телефон, и я неохотно взял трубку.

— Кто говорит?

— Это вы, господин начальник?

— Я, конечно, я, Боже мой!..— был мой раздраженный ответ.

Это звонил надзиратель, стоявший на наружной охране собора, и сообщал, что в соборе слышна стрельба. Я пулей полетел в Кремль, пригласив с собой и своего помощника, В. Е. Андреева. В дверях храма нас встретил один из дежуривших в нем надзирателей, Михайлов, расторопный и довольно интеллигентный малый.

— Ну, что у вас, Михайлов?

— Да слава Богу, вор пойман.

— А что означает ваша стрельба, неужели оказал сопротивление?

— Какое там, господин начальник, он с голодухи чуть жив.

— Почему же вы стреляли?

Михайлов конфузливо помялся и спросил:

— Прикажете рассказать подробно?

— Говорите.

— Видите ли, господин начальник, сменили мы наших ночных товарищей и те тут же, под троном царя Бориса завалились спать. Они спят, а мы с Де-

мештьевым караулим. Как приказано, сидим смирно, не разговариваем. Кругом мертвая тишина. Спокойно смотрят на нас лики святых угодников, да где-то вдалеке мерцает синий огонек неугасимой лампы. Лишь изредка нарушит тишину треск сухого дерева, да заскребет иной раз мышь у свечного ящика. Сидим мы и молчим, а в голове проносится былая жизнь на Руси, протекавшая в этом храме. Сидишь под троном Годунова, да думаешь: неужели было время, что царь Борис восседал именно здесь, на этом самом месте, над твоей головой? Или представишь себе те десятки тысяч отпеваний, что пронеты были здесь за минувшие столетия. Смотришь на царское и патриаршее место и мерещатся тебе то Грозный царь, то Никон-патриарх, и жутко становится как-то на душе. Сиюю это я. да поглядываю на своего соседа, а у того на лице те же чувства написаны.

В таком напряжении прошел час-другой, как вдруг ясно послышался стук и еще, и еще. Мы встрепенулись, растолкали спящих товарищей и вчетвером принялись слушать. Непонятный шум продолжался: не то кто-то скребет, не то бьет в стену. Смотрим кругом, а никого не видно, и понять не можем, откуда эти звуки. А они все сильнее и сильнее. Я перекрестился, Дементьев стал шептать молитву. Мы прижались друг к другу и впились в иконостас глазами. Но вдруг случилось нечто ужасное: с самого верхнего ряда икон сорвался образ и с грохотом упал на плиты каменного пола. От этого грохота пошел гул по всему собору и замер где-то в куполе. Шум временно затих и наступила гробовая тишина. Наши сердца стучат, горло сжимается, во рту пересохло. Как вдруг на том месте, откуда упала икона, появилось нечто. Что это было — разобрать мы не могли, но нечто ужасное, какой-то серый ком, по форме вроде человека, но без глаз, носа, рта и ушей. Мы дико вскрикнули и, не целясь, открыли беспорядочную стрельбу из маузеров по страшному призраку. При первом же выстреле он, хватаясь и цепляясь за иконы, соскользнул на пол и на нем растянулся. Тут мы только разглядели, что перед нами человек. Наши пули его не задели, да только грех большой приключился: одна пуля пробила икону святителя

Пантелеймона. Но тут мы упавшего схватили, а вы и подъехали.

Войдя в храм, я отправился к вору. Вид его меня поразил: поистине, он походил скорее на призрак, чем на живого человека. Его голова, лицо, руки, платье были окутаны толстым, пушистым слоем вековой пыли. Этот «некто в сером» едва держался на ногах и производил самое жалкое впечатление.

Весть о поимке вора-святотатца быстро разнеслась по Москве и толпы народа, горя жаждой мщения, хлынули к собору, желая самосудно разделаться с дерзким осквернителем святыни. Об этом донесли мне мои люди, уверяя, что вынести вора из собора через главный выход, через гудящую толпу, невысказимо, он неизбежно будет разорван негодующим народом. Поколебавшись, я решил вместе с В. Е. Андреевым вывести вора из храма задним ходом через Тайницкие ворота и увезти его на извозчике, а не в автомобиле, что дожидался нас со стороны Кремлевской площади. Этот маневр удался и преступник благополучно был нами доставлен в Малый Гнездиковский переулок.

Здесь я тотчас же велел принести белье и платье моего старшего сына. Вора вымыли и переодели. Он назвался Сергеем Семиным: по ремеслу, — ювелирным учеником.

— Что, Сережка, есть хочешь?

Он, вместо ответа, задрожал от одного представления об еде и принялся глотать слюни.

Из ближайшего ресторана ему были принесены две порции щей, две отбивные котлеты и огромная булка.

Мне впервые в жизни пришлось воочию наблюдать процесс насыщения поистине голодного человека. Он с жадностью глотал щи, запихивал в рот невероятные куски мяса, рвал хлеб и минут через пять уничтожил все без остатка.

— Хочешь еще?

— Да, если будет ваша милость!

— А не помрешь ли с голодухи-то сразу?

— Ничего-с, в лучшем виде-с съедим-с!

Ему принесли еще котлету и хлеба.

— Ну, а теперь, Сережка, попьем чайку?

— С превеликим удовольствием, господин начальник!

Нам принесли чаю и я с ним выпил стаканчик.

Между тем, за это время ко мне в управление пожаловали московские власти, желающие взглянуть на редкую птицу. Каждый из них подавал мне советы, какие меры и способы применить при допросе. Через градоначальника генерала Андреянова мне удалось, наконец, их вежливо сплавить. Но лишь представитель прокуратуры, — товарищ прокурора В. В. Ш. настоял на своем присутствии на допросе.

— Ну, Сережка, поел-попил, а теперь поговорим о деле. Где камни?

— Да я передал их Мишке с Хитрова рынка.

— Ну и дрянь же ты, Сережка. Вот ваш брат про сыскную полицию брешет небылицы: и пытаются, и бьют, будто бы, вас. А ты видишь, как тебя приняли в сыскной полиции? Одели, накормили, напоили, а ты за это в благодарность врешь, как дурак. Ну, и свинья же ты!

Сережка потупил голову, подумал, посмотрел исподлобья на В. В. Ш. и, обратясь ко мне, спросил:

— А кто они будут? — и он кивнул в сторону Ш.

— Это товарищ прокурора.

— Товарищ начальник, — неуверенно сказал Сережка, — позвольте им выйти вон.

Я смущенно повернулся к Ш. Он поспешно и утвердительно закивал головой и, с натянутой улыбкой, подобрав портфель, вышел из кабинета.

Сережка облегченно вздохнул и принялся рассказывать. Оказалось, что все эти трое с лишним суток Семин скрывался за иконами. Когда мы обшаривали шестами пустое пространство, то его не нащупали лишь потому, что ему удалось забиться в нижнюю выступающую часть сплошной иконной стены, так сказать, под ступеньку или полку, о которой я уже говорил. Шест, опускаемый сверху, доходил до полу, но, конечно, не мог проникнуть круто в сторону и зацепить укрывавшегося.

Семин в своей засаде пережил муки голода и жажды, так как за все время он съел лишь одну просфиру и выпил бутылку кагору, найденные им в алтаре. Пытаясь выбраться, он полез наверх по икон-

ной стене и, случайно, выдавил икону, падением своим столь напугавшую моих агентов.

План действий у Семина был заранее выработан и состоял в том, чтобы, по совершении кражи, спрятать в надежном, заранее облюбованном месте драгоценности и выбраться, разбив окно, наружу. За похищенным же он намеревался явиться через месяц-другой, словом, тогда, когда горячка уляжется. Все очевидно так бы и произошло, если бы законы перспективы не обманули Семина. Выработывая план и осматривая будущее поле действия, он ошибся в размерах окна и, глядя снизу, нашел его достаточно широким, совершив же преступление и разбив окно, он тщетно пытался просунуть в окно голову и пролезть — окно оказалось чересчур узким. Просвистевшая над головой пуля часового оповестила его о тревоге, и он кинулся искать убежища. Спустившись с разбитого левого окна, Семин принялся бегать по собору и, увидев толстый шнур вентилятора, висящий у правого окна, он быстро поднялся по нему, влез на окно, а затем решил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы потревоженной пыли на правом окне.

— Куда же ты спрятал вещи?

— Да там же, в соборе, в одной из гробниц.

— Что ты врешь! Мы все гробницы осмотрели.

— Да вам не найти: так ловко запрятано! Видели вы две гробницы рядом под общим мраморным чехлом? Между ними в мраморе у самого пола большая как бы отдушина, так с пол-аршина шириной. Вот ежели на животе в нее залезть, то очутишься между двумя металлическими гробами, затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, нужно запустить ее в правый же гроб, там между ним и мраморным чехлом — пустота. Тут-то и положены мною снятые драгоценности, завернутые в пиджак. Разве вы не приметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака?

— А не врешь ли ты, Сережка? Как же это мои люди не достали их?

— Да, окромя меня, никому их не достать! Нужно умсючи.

— Ну, вот что, Сережка! Едем в собор, ты и достанешь.

Хотя я и боялся использовать его услуги, так как, мало ли что, он мог там еще удавиться, но решил рискнуть. Однако все обошлось благополучно и Сережка добыл вещи.

Я обратился к прокурору, прося, вместо К., назначить другого следователя для избежания каких-либо трений со мной в дальнейшем течении следствия. Просьбу мою прокурор уважил и был назначен следователь Головня. Лишь только вещи были найдены, начались поздравления и приветствия со всех сторон. Митрополит Владимир, лично приезжавший благодарить меня, чувствовал себя сконфуженным и горячо извинялся за свои сомнения в моих розыскных способностях. Из кусков стекла разбитого соборного окна я приказал сделать овальные стеклышки, прикрывающие крошечные фотографии Успенского собора, и, в виде брелоков, подарил их на память каждому участвовавшему в раскрытии этого дела, причем и следователь К. не был мною забыт.

Вскоре ко мне явилась делегация от церковных властей и поднесла, благословенную митрополитом Владимиром, копию иконы Владимирской Божьей Матери в кованой серебряной ризе, с соответствующей надписью. Эта икона была передана мною моему сыну-стрелку и погибла в Царском Селе при разгроме большевиками его квартиры.

На суде, приговорившем Семина к восьми годам каторжных работ, защитник его пел долгие дифирамбы по адресу московской сыскной полиции, указывая на вздорность слухов о жестоком, якобы, обращении в ней с преступниками, ставя ее на один уровень с европейскими полициями (чем я, впрочем, был не особенно польщен). Сам подсудимый в последнем слове, ему предоставленном, кратко заявил:

— Одно могу сказать, господа правосудие, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать бы вам бриллиантов!..

И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.

УБИЙСТВО В ИПАТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

В дни нашумевшего дела о краже в Успенском соборе в Москве произошло другое событие, глубоко взволновавшее население Первопрестольной. Сыскная полиция была извещена об убийстве девяти человек в Ипатьевском переулке.

Переулок этот представляет собой узкий, вымощенный крупным булыжником проезд с лепящимися друг к кругу домами и домишками, и ничем особым не отличается.

В одном из полуразвалившихся от ветхости домов, давно предназначенном на слом, в единственной, относительно уцелевшей в нем квартире ютилась рабочая семья, состоящая из девяти человек. Четыре взрослых приказчика и пять мальчиков составляли эту семейную артель. Все они были родом из одной деревни Рязанской губернии и работали в Москве все сообща на мануфактурной фабрике. Злодейство было обнаружено после того, как жертвы не явились на работу. Встревоженная администрация предприятия в то же утро послала одного из своих служащих справиться о причине этой массовой неявки и последний, войдя в злополучную квартиру, был потрясен видом крови, просочившейся из-под дверей ее комнат и застывшей бурыми змейками в прихожей. На его зов никто не откликнулся. В доме царил могильная тишина. Администрация нас тотчас же известила и я лично немедленно направился в Ипатьевский переулок.

Старый, облезлый дом с побитыми окнами, с покоробленной крышей, с покосившимися дверями и покривившимися лестницами напоминал заброшенный улей. Никто, разумеется, не охранял эти руины. Ни дворников, ни швейцара в нем, конечно, не было. Под-

явившись на второй этаж, я приоткрыл дверь единственной квартиры, еще недавно населенной людьми, а ныне ставшей кладбищем. Спертый, тяжелый воздух ударил мне в нос: какой-то сложный запах бойни, мертвецкой и трактира. Волна воздуха, ворвавшаяся со мной, уныло заколебала густую паутину, фестонами висящую по углам комнаты. Это была, видимо, прихожая. Открыв правую дверь и осторожно шагая по липкому, сплошь залитому застывшей кровью полу, я увидел две убогие кровати, составляющие единственную обстановку этой комнаты. На них лежало два мальчика, один лет двенадцати, другой — лет четырнадцать на вид. Дети казались мирно спящими, и если бы не восковая бледность их лиц, да не огромные, зияющие раны на их темени — ничто бы не говорило об отнятой у них жизни. Та же картина была в левой от прихожей комнате, с той лишь разницей, что, вместо двух, там спали вечным сном три мальчика того же примерно возраста. В соседней с нею комнате с такой же раной лежал на постели взрослый человек, очевидно, приказчик. Из прихожей прямо вел коридор в две смежные комнаты — первую большую, а за ней маленькую. В большой лежало два взрослых трупа. Из маленькой до моего приезда был увезен в больницу пострадавший, подававший еще некоторые признаки жизни. Посреди задней большой комнаты стоял круглый стол, на нем недопитые бутылки водки и пива, а рядом с ними вырванный листок из записной книжки и на нем ломаным почерком было нацарапано карандашом:

«Ванька и Колька,
мы вас любили, мы вас и убили...»

Поражало обилие крови, буквально наводнившей всю квартиру. Не только пол был ею залит, но подтеки и следы ее виднелись повсюду: и на стенах, и на окнах, и на дверях, и на печках.

Осмотр помещения привел к обнаружению в печке кучи золы, в которой оказался полуистлевший воротник от сгоревшей мужской рубашки, а из самых глубин печки была извлечена десятифунтовая штанга с отпиленным вместе с шаром концом. Этой, своего рода булавой, видимо, и орудовали преступники, проламывая черепа своих жертв.

Имевшиеся в квартире сундучки,— обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящая обыкновенно его незатейливый скарб,— были взломаны и говорили о грабеже.

Чувствовалось, что записка с дикой надписью, не есть тот конец, ухватясь за который удастся распутать кровавый клубок. Несомненно, это была лишь наивная попытка направить розыск по ложному пути. Я говорю — наивная, так как для чего же было убийцам оповещать уже мертвых любовников о своем авторстве? Для чего было рисковать и оставлять чуть ли не визитные карточки? Наконец, представлялось маловероятным, чтобы две женщины могли запросто осилить и убить девять человек.

Как я говорил уже выше, дом был необитаем, следовательно, не у кого было справиться ни о жизни, ни о привычках убитых. Не представлялось возможным выяснить, хотя бы даже приблизительно, обстановку не только в день убийства, но и за неделю, за месяц до него.

Прежде всего я обратился в лечебницу, куда был перевезен оставшийся в живых приказчик. Но он оказался при смерти, в полном забвении, и лишь бессвязно бредил. Я просил медицинский персонал внимательно следить за его бредом. Но результат от этого получился ничтожный и довольно странный: мне сообщили, что среди бессвязного лепета раненый часто и отчетливо повторяет слово: «Европа».

— Почему «Европа»? Почему эта часть света так полюбилась вдруг этому несчастному, в лучшем случае, только грамотному человеку?

Но через неделю и он умер, а с его смертью еще больше потускнела и надежда добиться истины.

Одновременно я обратился и в мануфактурное предприятие, где навел подробные справки о покойных служащих. Там я получил хотя и туманные, но все же кой-какие указания, а именно: некоторые из товарищей скончавшегося в лечебнице приказчика мельком слышали, что покойный намеревался открыть в сообществе с каким-то земляком какое-то торговое предприятие.

Так как земляка этого никто никогда не видел, то разыскать его представлялось далеко не легким делом.

Между тем земляк этот представлялся мне если не ключом к загадке, то, во всяком случае, единственным имеющимся шансом к ее растолкованию.

Следовательно, он должен был быть разыскан. Я послал агента в Рязанскую губернию, чтобы составить в волостном правлении точный список всех крестьян волости, к которой принадлежал покойный, проживавший последний год в Москве. Их набралось до трехсот человек. Я разбил Москву на участки, и десятки моих агентов принялись порайонно допрашивать всех, помещенных в списки рязанцев. Их подробно расспрашивали о жизни и работе в Москве, будто ненароком спрашивались и об убитом земляке. Конечно, принятая работа могла оказаться стрельбой по воробьям из пушки, но иного способа у меня не было и волею неволей я остановился на этом. Неделя прошла, не дав ничего. Как вдруг на второй неделе при опросе рязанцев, проживавших в Марьиной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города была недавно продана старым владельцем, — рязанским крестьянином, Михаилом Лягушкиным, — новому, причем чайная эта носила громкое название «Европа».

Европа — это было уже ценное указание, принимая во внимание бред умершего приказчика.

Я принялся за поиски Михаила Лягушкина. В районе Марьиной рощи его знали почти все и в один голос говорили, что, продав чайную, он уехал на родину, в деревню. Но агент, снова посланный в Рязанскую губернию, выяснил, что Лягушкин там не появлялся.

Однако, недели через через две по Марьиной роще, где продолжали дежурить мои люди, пронесся слух, что Лягушкин приобрел трактир в Филях и, отремонтировав его, открыл под той же вывеской — «Европа». Это подтвердилось и Лягушкин в Филях был немедленно арестован и привезен в сыскную полицию. Он оказался крошечным человечком с птичьей физиономией и с черными, бегающими глазками. Конечно, вину свою он упорно отрицал. Обыск в Филях ничего не дал, но детальный осмотр его белья, платья и обуви лишь усилил мои подозрения, так как в рубце, между заготовкой и подошвой сапога были обнаружены следы старой, запекшейся крови. Присутствие ее Ля-

гушкин объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем, химический и микроскопический анализы показали, что кровь человеческая. Полупистлевший воротник рубашки, найденный в печке, несмотря на свой крохотный чисто детский размер, приходился Лягушкину впору.

Наконец, сравнение почерков хитроумной записки и торговых книг трактира «Европа» подтвердило их тождество. Но, несмотря на эти улики, Лягушкин продолжал все отрицать.

Потребовав точного отчета о его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в Филях, мы получили адреса трех углов, последовательно им перемененных, за этот промежуток времени. Сделав в них обыски, мы ничего не нашли. Однако, в первой квартире хозяйка указала, что до того, как поселиться у нее, Лягушкин жил месяца три напротив, у сапожника, снимая там комнатку.

Сделали обыск и у сапожника.

Здесь мы обрели ценную находку.

В чуланчике, примыкавшем к комнатухе, некогда занимаемой Лягушкиным, была найдена отпиленная короткая часть штанги с шаром, которой недоставало у орудия преступника, обнаруженного в печке, на месте убийства.

Под тяжестью этой новой неопровержимой улики преступник, наконец, сознался.

Оказалось, что убитый приказчик давно уже решил купить у него чайную «Европа» в Марьиной роще, и в день смерти взял пять тысяч рублей, накопленные за долгую службу, намереваясь на следующий же день свершить купчую. Вечером к нему зашел Лягушкин, не раз навещавший его за эти месяцы.

Сделку заблаговременно «вспрыснули» и Лягушкин угостил, кстати, и проживавших в той же комнате, двух других приказчиков. В этот вечер он не раз бегал в соседний трактир за «подкреплением». Наконец, когда хозяева отяжелели от вина, он распрощался и ушел, но... через час вернулся, прошел по коридору опять в большую комнату и, подкравшись к спящим приказчикам, уложил их обоих на месте, затем, в следующей комнате, покончил (вернее, смертельно ранил) и покупателя. Со дна его сундука он извлек

злополучные пять тысяч и намеревался скрыться, как вдруг его взяло сомнение. Я привожу дословно его дальнейшее показание:

— Нет, Мишка,— сказал я себе,— не валяй дурака, покончи и с остальными. Ведь все они мне земляки, стало быть, и по деревне молва пойдет, да и полиции расскажут, что вот, мол, такой-то вчера водку вместях с ними пил, и будет мне крышка. Тогда я взял свою культяпку и пошел обратно в прихожую, а из нее сначала в одну, а потом и в другие две комнаты. Жалко было пробивать детские черепочки, да что ж поделаешь? Своя рубашка ближе к телу. Расходилась рука и пошел я пощелкивать головами, что орехами, опять же вид крови распалил меня: течет она алыми, теплыми струйками по пальцам моим, и на сердце как-то щекотно и забористо стало.

Прикончив всех, я заодно перерыл сундуки, да одна дрянь оказалась. Кстати, передел чистую рубашу, а свою, кровавую, пожег в печке для верности, туда же и гирьку запрятал.

Жутко было слушать исповедь этого человека-зверя, с таким спокойствием излагавшего историю своего кошмарного преступления.

Суд приговорил Лягушкина к бессрочной каторге.

МАРИЕНБУРГСКИЕ ПОДЖОГИ

В самом начале девяностых годов, в бытность мою начальником рижской полиции, Лифляндский губернатор М. А. Пашков предложил мне заняться так называемым Мариенбургским делом. Мариенбург — это большое, густо населенное местечко Валкского уезда, принадлежавшее некоему барону Вольфу. Барон сдавал эту землю в долгосрочную аренду и люди, снимая ее, строились, обзаводились хозяйством, плодились и умирали. Ничто не нарушало мирного, своеобразного уклада жизни этого уголка, уклада, не лишенного, впрочем, некоторого феодального оттенка. Барон Вольф являлся не только собственником земли, но и обладал по отношению к людям, ее населяющим, — некоторыми обломками суверенных прав. По праву так называемого патронатства, от него зависел выбор местного пастора. И вот на этой-то почве разыгралось дело, о котором я хочу рассказать.

Вновь назначенный бароном пастор был не угоден населению и последнее, не добившись от барона его увольнения, перешло, в виде протеста, к насилию. Начался ряд поджогов сначала хозяйственных построек, принадлежащих владельцу, затем строений, отведенных под жилье пастора, потом обширных запасов сена, хлеба и прочих сельских продуктов, получаемых пастором с довольно значительного участка, наконец, войдя во вкус, поджигатели принялись и за рядовых жителей. Пожары сопровождались кражами, иногда довольно значительными; были случаи и с человеческими жертвами. Так, при одном пожаре сгорели старуха с внуком.

Местная полиция с ее малочисленным штатом и скромным бюджетом была бессильна что-либо поделывать. Барон Вольф жаловался в Петербург на бездействие властей, результатом чего и было предложение губернатора мобилизовать мне силы рижской сыскной

полиции, вместе с широким ассигнованием средств, потребных на ведение этого дела. Одновременно со мной был привлечен к этой работе и прокурор рижского суда А. Н. Гессе.

Выслав вперед нескольких агентов, я с прокурором выехал в Мариенбург, где А. Н. Гессе, кстати, хотел ознакомиться с делопроизводством местного судебного следователя,— милого, но мало опытного, человека. Остановились мы в своем вагоне, а вечер провели у судебного следователя. Возвращаясь к ночи на вокзал, мы были свидетелями очередной «иллюминации». Как уверяли потом, обнаглевшие поджигатели в честь нашего приезда подожгли два огромные стога сена. На следующий день, проведя всестороннее расследование случившихся за последний месяц пожаров, мне без труда удалось установить факт поджогов. Где находили остатки порохового шнура, где обгорелый трут, а то и просто следы керосина.

Мои агенты, проводившие время по трактирам, пивным и рынку, не уловили ни малейшего намека на имена возможных виновников, услышав лишь общее подтверждение наличия именно поджогов. Вместе с тем, они вынесли впечатление, что, благодаря шуму, поднятому вокруг этого дела, и безрезультатным усилиям уездной полиции, продолжающимся вот уже с месяца, все местные жители крайне осторожны и сдержанны со всяким новым, незнакомым лицом. Тщетно два мои старшие надзиратели уверяли всех и каждого, что они рабочие с педального завода, выигравшие пять тысяч рублей в германскую лотерею, запрещенную нашим правительством, но, тем не менее, весьма распространенную по Лифляндской губернии, и подыскивающие небольшое, но свое, торговое дело,— им плохо верили, относясь с опаской, исключаящей, конечно, всякую откровенность.

Получив вещественные доказательства поджогов и мало обещающие сведения о возможности поимки виновных, я в довольно кислом настроении вернулся в Ригу.

Представлялось очевидным, что лишь коренной житель Мариенбурга, пользующийся доверием своих земляков, мог бы пролить хотя бы некоторый свет на это не дававшееся в руки дело. Но, к сожалению, таким «языком» мы не располагали и оставалось лишь

одно — искусственно его создать. Конечно, такая комбинация требовала времени, что мало меня устраивало, так как поджоги все продолжались, но, за неимением другого, пришлось прибегнуть к этому затяжному способу.

Призвав к себе одного из ездивших со мной агентов, я предложил ему вновь прозондировать почву в Мариенбурге с целью определения того вида торговли, каким они могли бы там заняться, не взирая на подозрения.

По возвращении из командировки агент доложил, что лучше всего было бы открыть пивную, так как в местечке их всего две, да и по характеру торговли пивные всегда служат местом многолюдных сборищ, что, опять-таки, облегчает возможность получения нужных нам сведений.

Сказано — сделано!

Снабдив двух моих агентов подложными паспортами со штемпелями и пропиской того завода, на котором, по их словам, они работали до лотерейного выигрыша, я отправил их в Мариенбург торговать пивом.

Прошло недели две и один из агентов, приехав в Ригу, сообщает, что дела идут плохо, пивная пустует, публика, по старой памяти, идет в прежние лавки, а их обходит.

Что тут делать?

Поломав голову, я изобрел следующий аттракцион. Вспомнив, как в дни юности я заходил иногда на Измайловском проспекте в Bier-Halle, где к кружке пива непременно подавалась соленая сушка, я предложил и моим людям завести такой обычай. На возражение агента, что подобный расход даст убыток предпрятию, я ответил согласием на убыток, и он уехал обратно в Мариенбург, увозя с собой из Риги несколько пудов соленых сушек.

Сушка оказала магическое действие и через неделю, примерно, агенты сообщили, что от публики отбою нет.

Прошло так месяца полтора и стал приближаться новый год. Агенты мне пишут:

«Как нам быть, господин начальник? К новому году торговые патенты должны быть обменены и, по установившемуся обычаю, принято, при получении нового, — передать младшему помощнику начальнику

уезда конверт с 10—15 рублями, принося ему вместе с тем новогодние поздравления».

Я ответил: «Передайте конверт и поздравляйте».

Они так и сделали. Один из агентов отправился в нужный день к начальству и, получив новый патент и передав красненькую, поздравил его с новым годом. Он был высокомилоостиво принят начальством и все обошлось гладко.

Между тем, поджоги продолжались. Я нервничал и торопил моих «купцов».

Наконец, в начале февраля, они доносят, что имеют сильное подозрение против ряда лиц, посещающих их лавку. Во главе этой дружной и вечно пьяной компании, состоящей из кузнеца и двух сыновей сторожа кирпичи, стоит некий Залит — местный брандмейстер, он же и фотограф. Подозрения свои агенты строят, во-первых, на том, что все эти люди, особенно сыновья сторожа, были по общему отзыву доселе бедняками. Между тем, за последние месяцы они швыряют деньгами и целыми днями торчат в пивной, выпивая бесконечное количество пива. Во-вторых, был такого рода случай: пьяный кузнец как-то проговорился и предсказал на ночь пожар, намекнув при этом и на обреченный дом. Предсказание в точности сбылось и дом сгорел. Агенты тут же сообщали подробные адреса этих четырех заподозренных лиц.

Получив столь серьезные сведения, я опять в обществе прокурора, милейшего А. Н. Гессе, выехал в Мариенбург, захватив с собой несколько своих людей.

На место мы прибыли к вечеру и, дождавшись ночи, вышли из своего вагона и, разбившись на три группы, одновременно нагрянули с обысками к брандмейстеру, кузнецу и сыновьям сторожа. Победа оказалась полной.

Как у Залита, так и его сообщников, мы обнаружили значительные суммы денег, о происхождении которых они не могли дать объяснений. У каждого из них мы нашли восковые конверты с пороховым шнуром, по несколько десятков аршин твута, большие запасы керосина и так далее.

Все они, конечно, арестованы и препровождены в Ригу. Я лично присутствовал на громком процессе этих поджигателей, имевшим место в Риге, причем

у меня с защитником обвиняемых, известным петроградским адвокатом Г., произошел довольно странный конфликт. В качестве свидетеля я рассказал подробно и откровенно суду о пивном трюке, к которому мне пришлось прибегнуть для поимки виновных. На обычное предложение председателя суда, обращенное сначала к прокурору, а затем и к защитнику:

— Не имеете ли предложить вопросы свидетелю?

Прокурор ответил отрицательно, а присяжный поверенный Г., с запальчивостью:

— О, да!.. Имею!..— после чего, повернувшись ко мне, наглым ироническим тоном спросил:

— Расскажите, любопытный свидетель, какими еще происками занимались вы в Мариенбурге?

Я обратился к председателю:

— Господин председатель, я покорнейше прошу вас оградить меня от выпадов этого развязного господина!

Председатель принял мою сторону и заявил Г.:

— Господин защитник! Призываю вас к порядку и прошу задавать вопросы свидетелю через меня и в более приличной форме!

Г. возразил:

— Я требую занесения слов свидетеля, обращенных ко мне, в протокол.

Я потребовал того же.

— Не имеете ли еще вопросов? — спросил председатель адвоката Г.

— Нет, не имею.

На этом инцидент был исчерпан.

Брандмейстера Залита приговорили к восьми годам каторжных работ. Его сообщники отделались, кажется, меньшими сроками.

По окончании дела я, в присутствии моего агента, вызвал к себе помощника начальника уезда.

— Послушайте, а красненькую-то отдать нужно! Деньги ведь казенные.

Он, сильно смущаясь, ответил:

— Слушаюсь, господин начальник! — и торопливо полез в бумажник. Вспотевший, красный, как рак, он долго упрашивал меня не докладывать губернатору об его ззорном поступке и я, на радостях, каюсь: махнул на него рукой.

ДАКТИЛОСКОПИЯ

В борьбе с преступным миром дактилоскопия не раз оказывала мне существенные услуги. В этом отношении мне особенно врезался в память следующий случай.

Но прежде, чем рассказать о нем, я принужден сделать маленькое отступление и, хотя бы в самых кратких и общих чертах, напомнить читателю, что такое дактилоскопия. Дело в том, что нет в мире двух людей, у которых рисунок кожи на пальцах был бы одинаков. Разница либо в спиральных кожи, либо в узелках, либо в морщинках,— но всегда и непременно имеется. Эта особенность кожи чрезвычайно прочна. Так, никакие ожоги и ранения кожных покровов не в силах видоизменить первоначального рисунка. Пройдет ожог, затянется ранение и снова на молодой, вновь народившейся коже проступит тот же рисунок, что был ей свойствен с момента появления данного человека на Божий свет. На этом причудливом свойстве природы, известном, впрочем, еще в глубокой древности, основаны ныне и дактилоскопические системы. Способ относительно быстрого нахождения в многочисленных, прежде снятых отпечатках, снимка, тождественного с только что снятым, был разработан и применен мною впервые в Москве. Он, очевидно, оказался удачным, так как был вскоре же принят и в Англии, где и поныне английская полиция продолжает им пользоваться.

Итак, в 1910 году меня как-то известили по телефону, что в только что прибывшем ростовском поезде, в купе первого класса, обнаружен труп мужчины, лет сорока пяти, убитого ударом кинжала в грудь. В сопровождении судебного следователя Ч. и полицейского врача М. я немедленно отправился на Курский вокзал. Вагон с убитым оказался оцепленным и стоящим на

одном из запасных путей. Отодвинув дверцу купе, мы увидели следующую картину: на нижнем диване, головой к окну, лежал на спине человек, лет сорока пяти на вид, одетый в пиджак без воротника (последний тут же виднелся в сеточке на стенке); правая рука трупа свесилась и пальцами касалась пола. С левой стороны груди у убитого торчала белая ручка слоповой кости глубоко воткнутого в тело кинжала. Лицо трупа было покойно, он походил на мирно спящего человека, из чего возникло предположение, что смерть последовала мгновенно и, надо думать, во сне. Во всяком случае ни малейших следов борьбы не имелось. Все в купе было в порядке: два запертых чемоданчика лежало на верхней сетке, на столе виднелась раскрытая коробка тульских пряников, что, как будто бы, давало основание думать, что убийство, вероятно, совершено между Тулой и Москвой. При обыске трупа мы обнаружили в боковом кармане пиджака совершенно новенький бумажник с 275 рублями, с монограммой «К». В левом кармане брюк находился, хотя и смятый, но не бывший в употреблении носовой платок с большой, красной меткой (тоже «К») и в правом — серебряный, гладкий портсигар, с большой золотой монограммой, все с тем же «К» и двумя золотыми украшениями: фигуркой обнаженной женщины и кошечки, с крохотными изумрудами вместо глаз. Этот портсигар сразу обратил на себя мое внимание и я бережно, не касаясь гладкой поверхности и держа его осторожно пальцами за ребра, принялся его осматривать. Мне бросились в глаза два небольших кровавых пятнышка и следы захватов от пальцев. Я тотчас же осмотрел руки убитого, но они оказались чистыми, без малейших следов крови. Невольно напрашивалась мысль, что портсигар этот подсунут убитому убийцей уже после совершения преступления. Взиду целости вещей: часов (они оказались на убитом), бумажника с деньгами и пр., похоже было, что преступление совершено не с целью грабежа. Никаких документов, устанавливающих личность, на покойном не оказалось. Из расспросов проводника вагона, заступившего в Орле, мы узнали, что он видел покойного последний раз в Туле, возвращавшимся в вагон с коробкой пряников в руках. Убийство было обнаружено лишь по прибытии

поезда в Москву при обычном обходе вагонов жандармским унтер-офицером. Я велел перенести труп в приемный покой при Курском вокзале и, забрав с собой копию протокола осмотра и отобранные вещи, вернулся на службу к себе. Особенно бережно я вез портсигар.

Приехав в сыскную полицию, я тотчас же вызвал чиновника, специалиста по дактилоскопии, и предложил ему расшифровать следы пальцев на портсигаре убитого. Насыпав осторожно специального особо тонкого и сухого порошку на захваченную поверхность, он осторожно его сдул, в результате чего тонкий слой порошка остался прилипшим лишь к слегка жирной поверхности металла, не оставив следа на тех местах, где обрисовались спиральные завитки кожи. Получилось черное поле, как бы изрытое спиралеобразными трапнеями. Рисунок этот был немедленно сфотографирован и подведен под соответствующую формулу, после чего мы приобщили его к группе карточек надлежащих регистров. Он оказался новым, то есть в коллекции нашей подобного не имелось; из этого следовало, что убийца — не профессионал, не рецидивист.

Дело это не захватило меня, так как вначале представлялось мне довольно банальным. Раз нет следов грабежа, стало быть, мстить на какой-либо почве руководила рукой преступника. Стоит, думалось мне, установить личность убитого и, без особого труда, картина преступления раскроется. Смущал меня несколько портсигар, как будто подсунутый убийцей, но подобного рода трюки с целью сбить розыск с правильного пути встречались уже не раз в моей практике.

Во всех московских газетах я сделал сообщение о найденном трупе в ростовском поезде, его приметах и об оказавшемся при нем портсигаре с монограммой «K», фигурой женщины и кошки с изумрудными глазами. Я был уверен, что завтра же явятся ко мне родные или друзья убитого за справками. И в самом деле, на следующий же день, часов в двенадцать, мне доложили о какой-то даме, желающей меня видеть по этому делу.

— Проси, — сказал я курьеру.

В мой кабинет вошла молодая еще дама с взволнованным лицом и заплаканными глазами.

— Я пришла к вам, прочтя в газетах о найдеппом трупе,— увы! — думается мне, моего несчастного мужа! — и дама разрыдалась.

Я успокаивал ее, как мог.

— Почему же, сударыня, вы думаете, что убитый именно ваш муж?

— Видите ли, с неделю тому назад муж выехал в Ростов по делам и должен был именно вчера вернуться. Он не приехал и не известил меня о причине задержки, что вовсе на него не похоже; затем приметы схожи, а, главное,— этот портсигар. Относительно портсигара, я не знаю, что и думать. По описанию,— это точно портсигар мужа, но, с другой стороны, за неделю до своего отъезда муж его потерял и был этим весьма опечален, так как дорожил этой памятью, моим подарком. Каким образом он снова очутился в его кармане,— я себе не представляю. Но, во всяком случае, крайне, крайне встревожена.

Я достал из ящика злополучный портсигар и протянул его ей.

Едва увидев его, дама вскрикнула:

— Он, он! Это портсигар Мити! Я даже знаю, что внутри на вызолоченной поверхности в уголке нацарапано мое имя «Вера».

Действительно, указание было точно и сомнений не оставалось.

— Скажите, сударыня, не украл ли кто-нибудь этот портсигар у вашего мужа с неделю назад? Не имели ли вы на кого-нибудь подозрений?

— Нет, муж тогда определенно заявил, что потерял его где-либо на улице, положив в прорванный карман пальто.

— Между тем, вы видите,— он не потерян.

— Не знаю просто, что и думать! Вы разрешите мне отправиться и осмотреть покойника?

— Конечно, сударыня! Я дам вам в сопровождение одного из агентов, поезжайте немедленно!

Мы расстались. «Бедная женщина! — думалось мне.— Вряд ли минует тебя горькая чаша вдовства!» Но, каково было мое удивление, когда часа через полтора она вошла вновь в мой служебный кабинет, сияющая, счастливая и довольная!

— Представьте, какое счастье! Убитый — вовсе не мой муж! О, Господи, Ты милосерден ко мне! Я теперь ожила, снова возродилась. Я счастлива, господин начальник, как давно не была!

— Ну, поздравляю! Очень, очень рад за вас! Но прошу все же немедленно прислать ко мне вашего супруга, как только он вернется из Ростова.

— Конечно, я непременно его пришлю.

— До свидания, сударыня. Что касается портсигара, то пока мне необходимо оставить его, но, по ликвидации дела, я надеюсь, смогу его вам вернуть.

На этом мы, распрощавшись, расстались.

К вечеру в этот же день явился ко мне некто Штриндман, совладелец ювелирного магазина близ Кузнецкого Моста, и заявил о своей тревоге. Его компаньон, Озолин, должен был, согласно телеграмме, вернуться вчера из Ростова, куда он ездил для покупки у одной знакомой дамы бриллиантового кольца. Это кольцо хорошо было знакомо обоим совладельцам магазина, так как еще в прошлом году поднимался вопрос о его приобретении, но тогда не сошлись в цене. Ныне же владелица его снова предложила купить и, списавшись с нею, Озолин выехал лично в Ростов для совершения сделки. Хотя Штриндман и прочел в газетах о том, что на вещах трупа имелась монограмма «К», но, тем не менее, просил мне разрешить ему взглянуть на мертвое тело. Я, конечно, разрешил и... убитый оказался именно Озолиным.

Итак, дело неожиданно получило новое освещение. Не месть, а корысть руководила преступником. У меня, еще при осмотре трупа на месте, мелькнуло предположение, что портсигар убийцей подсунут для отвода глаз, теперь же предположение это перешло в уверенность и, более того: по всей вероятности, новенький бумажник с 275 рублями и носовой платок положены для той же цели.

— Скажите,— спросил я Штриндмана,— в какую сумму оцениваете вы кольцо?

— Мы заплатили за него пятьдесят восемь тысяч.

— Кроме вас, знал ли еще кто-нибудь о цели поездки убитого?

— Никто кроме нашего приказчика Ааронова.

— Он не мог совершить этого убийства?

— О, пет, господин начальник! Яшу мы знаем давно, он и вырос у нас, он честный мальчик. Да, кроме того, все это время он безотлучно находился при работе, и посему, хотя бы, не мог совершить это преступление.

— Скажите, не подозреваете ли вы кого-нибудь вообще?

— Решительно никого! Я просто ума не приложу ко всему этому!

Подумав, я сказал:

— Видите ли, для пользы дела я не должен пренебрегать ничем, а поэтому вы меня извините, для очистки совести, попрошу и вас приложить палец.

— То есть это как же приложить палец?

— А вот, сейчас.

Я позвал чиновника и тот проделал дактилоскопическую операцию над Штриндманом. Полученный отпечаток нам ничего не дал.

— Не видели ли вы у покойного этот портсигар? — и я ему его протянул.

Он внимательно оглядел вещь и отрицательно покачал головой:

— Нет, никогда! Впрочем, покойный и не курил.

— Отлично! Я дам вам агента, который отправится с вами в ваш магазин и приведет мне вашего Ааронова.

Часа через два я допрашивал Ааронова, оказавшегося евреем, лет двадцати, весьма скромным и сильно напуганным. Он ничего нового не сообщил мне, сказав, что знает о цели поездки Озолина в Ростов. На мой вопрос, не говорил ли он о ней кому-либо, Аароноз отвечал отрицательно. Снятый отпечаток и с его пальца не соответствовал отпечатку пальцев на портсигаре. Я отпустил его.

Дело не разъяснялось, а главное — не виделось конца, за который можно было бы ухватиться для ведения дальнейшего розыска с некоторым вероятием на успех.

Все ювелиры, московские и петроградские, все известные нам скупщики драгоценностей были, конечно, оповещены об украденном колье, которое было подробно им описано, согласно данных Штриндмана; но я не придавал этому обстоятельству большого значения.

так как, во-первых, убийца и похититель мог вынуть камни из гнезд и продавать их поштучно, а, во-вторых, и что вернее, мог, до поры до времени, воздержаться вовсе от ликвидации похищенного или сплавить его в знакомые, ничем не брезгающие руки.

Таким образом, прошло безрезультатно дня три-четыре. За это время успел вернуться и побывать у меня «пропавший» было супруг счастливой «Веры». Но его показания не внесли ничего нового, а снимок с пальцев подтвердил лишь, конечно, его невиновность.

Я не раз замечал в своей розыскной практике, что не следует пренебрегать способами поимки преступников даже в тех случаях, когда способы эти имеют за собой самые ничтожные шансы на успех. Часто бывало, что самые невероятные комбинации приносили неожиданно пользу. В данном темном случае выбора у меня не было и я прибег к маловероятной, но сыгравшей, как оказалось впоследствии, капитальную роль, уловке. Во всех московских газетах я поместил объявление на видном месте следующего содержания: «1000 рублей тому, кто вернет или укажет точно местонахождение утерянного мною серебряного портсигара с золотой монограммой «К» и золотыми украшениями: обнаженной женщины и кошки с изумрудными глазами. При указании требуется для достоверности точнейшее описание вещи и тайных примет. Вещь крайне дорога, как память. Николо-Песковский переулок, дом № 4, кв. 2, спросить артистку Веру Александровну Незнамову».

Само собой понятно, что как артистка Незнамова, так и вечно находящийся при ней концертмейстер, проходящий с ней репертуар, равно как и обтрепанный довольно лакей,— были моими агентами; квартира же на Николо-Песковском переулке принадлежала одному из моих служащих.

Конечно, я не рассчитывал, что на подобную грубую удочку попадется сам убийца, но мне думалось, не соблазнит ли 1000 рублей кого-либо из второстепенных соучастников, если таковые имеются.

На второй же день после этого объявления вбегает ко мне моя агентша и радостно докладывает:

— Мы привезли, кажется, убийцу!

— Ну, ну! Уж и убийцу! Не горячитесь, не увлекайтесь, рассказывайте, как было дело!

— Так вот, господин начальник, сидим мы в квартире и ждем у моря погоды. Чуть послышится шум на лестнице, я сейчас же кидаюсь к роялю неистово вопить гаммы, а концертмейстер мой мне подтягивает. В такой тоске и вое прошел весь вчерашний день. Сегодня с утра начали с того же. И вот, с час тому назад вдруг кто-то позвонил. Силантьев, взяв салфетку под мышку, пошел открывать дверь, а мы с Ивановым затаили не то «Да исправится молитва моя», не то «Не искушай меня без нужды». К нам в комнату вошел молодой человек, лет восемнадцати, еврейского типа, и вопросительно на меня уставился. Я, обратясь к Иванову, томно промолвила:

— Вы извините меня, маэстро.

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказал он и вышел из комнаты.

Тогда я обратилась к пришедшему:

— Что вам угодно, мосье?

— Скажите, пожалуйста, вы г-жа Незнамова?

— Да.

— Вы дали в газетах объявление о портсигаре?

— Да, я. А что, вы принесли его? — сказала я, симулируя радость.

— Положим, я не принес его, но могу вам указать точно его местонахождение.

Я разочарованно надула губки:

— Да, это прекрасно, конечно! Но, но... почему я должна буду вам верить?

— Уй, да потому, что я тончайшим образом вам опишу его и вы увидите, что я, несомненно, говорю о вашем дорогом сувенире.

И он самым подробным образом описал мне портсигар, не забыв, конечно, упомянуть о нацарапанном имени «Вера» на внутренней стороне крышки.

— Да, несомненно, вы говорите о моем портсигаре. Где же он находится?

— Уф, пет, мадаменька, разве можно?! Сначала деньги.

— Маэстро! — крикнула я.

И мой концертмейстер и лакей вошли немедленно в комнату с браунингами в руках. Я, указав пальцем на перепуганного еврея, сказала:

— Берите его, господа!

Его забрали, надели наручники, да и привезли сюда. Назвался он Семеном Шмулевичем, православным, учеником часовых дел мастера Федорова, лавочка которого на Воздвиженке.

— Благодарю вас за хорошо выполненное поручение. А теперь пришлите-ка ко мне этого Шмулевича.

В кабинет вошел трясущийся от страха юноша и растерянно остановился среди комнаты.

— Ну что, Семен, влип, брат, в грязную историю?!

Шмулевич подпрыгнул, как на пружинах, и быстро-быстро затараторил:

— Уй, господин начальник, выше высокопревосходительство, ради Бога, отпустите меня, я не виноват вот нисколючки. Я смирный, бедный еврей (православный), никому горя не делаю. Ну, конечно, хотел сделать маленький гешефт (и Шмулевич прищурил глаз и, округлив пальчики, изобразил величину гешефта). Но что же здесь такого? Мадам в газете обещала 1000 рублей. Я и хотел честно заработать.

— Все это хорошо, но портсигар, который ты почему-то так точно описываешь, был найден на убитом человеке. Откуда же ты знал даже о нацарапанном имени «Вера» на внутренней стороне крышки? Выходит, что ты, пожалуй, и убил этого человека?

Шмулевич, подпрыгнув, как ужаленный, истерично завизжал:

— И не говорите мне даже этого, господин граф! Да разве я могу?! Что вы, что вы! Убить человека?! Фу, фэ! Семен в Бога верит и на это не способен. Я расскажу все, все, как было, не совру ни капельки!

— Ну, рассказывай.

Шмулевич, захлебываясь от поспешности, с невероятной жестикуляцией, принялся говорить:

— Прочел я как-то утречком, господин начальник, в газете об убитом в Ростовском поезде и когда прочитал до портсигара, то сразу почувствовал от страха боль в животе. Как раз такой портсигар за неделю до этого был куплен моим хозяином за двадцать четыре рубля у какого-то, зашедшего к нам в лавку, солдата. Портсигар этот мне очень понравился и я долго его рассматривал. Через пару дней он исчез,

хозяин его куда-то отнес. Как вдруг вчера я прочитал объявление дамочки и сразу подумал: не зевай, Семен, можешь хорошо заработать. А деньги не малые — 1000 рублей! Уй, у меня даже голова закружилась. Конечно, портсигар найден на убитом человеке, но я же в этом не виноват! Я честно укажу дамочке, что он находится в полиции, а она мне заплатит тысячу целковых. Вот и все. Я честный еврей, господин начальник!

Рассказ походил на правду. Однако, я приказал снять отпечатки с его пальцев и, хотя они ничего не дали, я счел нужным временно задержать еврея.

Два агента были немедленно командированы за часовщиком Федоровым и через час он предстал передо мной. Это был рослый малый типичного русского вида, с широким, довольно симпатичным лицом, но несколько неприятным выражением бегающих глаз. Держал он себя довольно спокойно и рассказал, что, действительно, ознатченный портсигар купил у какого-то солдата неделю с лишним тому назад, а через день его продал случайному, ему не известному покупателю. Большого выудить у него не удалось и, собираясь его отпустить, я, для очистки совести, велел сделать дактилоскопический снимок и с его пальцев. Угромо сидел я у себя в кабинете, измышляя какой-либо новый подход к недававшемуся мне в руки делу, как вдруг входит чиновник с двумя снимками (убийцы и Федорова) и взволнованно сообщает об их тождестве. Я внимательно разглядел оба отпечатка. Сомнений не было: убийца Озолина был найден.

Новый двухчасовой допрос Федорова с уговариванием и доказательствами не заставили его признаться и указать местонахождение похищенного. Очевидно, он плохо верит в дактилоскопический метод и не понимает тяжести этой неопровержимой улики.

Я снова вызвал Шмулевича.

— Вот что, Семен, хозяин твой оказался убийцей и дело его кончено. От каторги ему не отвертеться. В этом деле он может запугать и тебя, так как портсигар-то ты видел и 1000 рублей ходил получать. Для тебя лучше всего ничего не скрывать и отвечать чисто-сердечно на мои вопросы, иначе, повторяю, упечет он и тебя в тюрьму.

— Спрашивайте, спрашивайте, господин начальник, я ничего скрывать не стану. И зачем мне скрывать? Я не виноват, а укрывать убийцу Семен не станет. Я готов на все, на все, господин начальник!

— Отлично! Скажи, пожалуйста, ты давно служишь у Федорова?

— Четвертый год, господин начальник.

— С кем Федоров вел знакомство, куда чаще ходил, кто у него бывал?

— Жил он очень небогато, дела шли плохо, никто у него из приятелей не бывал и он никуда не ходил, разве только к маменьке.

— Где же живет его маменька?

— В слободе, за Драгомиловской заставой.

— И часто он ходил к ней?

— Не очень что бы, так, разок в неделю.

— А ты почему знаешь? Разве он сообщал тебе, куда ходит?

— Да, хозяин и говорил часто, да и не раз брал меня с собой к ней.

— Скажи, за эти две недели хозяин никуда надолго не отлучался из лавки?

Шмулевич как-то замялся, а потом решительно:

— Нет, господин начальник, отлучался и даже очень отлучался.

— Когда же именно?— спросил я живо.

— Да, вот, дней шесть или семь назад.

Шмулевич закатил глаза, потер лоб и, припомнив, сказал:

— Да, да! Это было в тот вторник (день обнаружения трупа). В понедельник, после закрытия лавки он ушел, а вернулся во вторник, часам к трем дня. Отдохнув часика четыре, он к вечеру опять ушел и к ночи вернулся.

— Куда же это он исчезал?

— Первый раз — сказать не могу, ну, а во второй, наверное, был у маменьки.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что за заставой грязь непролазная и хозяин возвращается оттуда, всегда ругаясь, весь выпачканный. Так было и во вторник к ночи.

— Вот что, Семен: хозяин твой уйдет на каторгу,

лавка его закроется и ты останешься без работы, если вообще не будешь привлечен по этому делу. Предлагаю тебе следующее: ты получишь от меня сто рублей награды, и если исполнишь в точности мое поручение, то я пристрою тебя в другой часовой магазин. Но, разумеется, ты должен для этого нам помочь.

— Отчего же не заработать сто рублей?

— То-то и оно! Твой хозяин, убив человека, похитил у него бриллиантовое кольцо и, по всему видно, припрятал его у маменьки за Драгомиловской заставой. Нам нужно его разыскать. Я, конечно, прикажу произвести обыск в лавке, но почти наверное его там нет.

— Конечно, нет! Бриллианты непременно у маменьки,— с убеждением сказал Шмулевич.

— Производить обыска теперь у маменьки я не хочу, так как при доме, в слободе, имеется и двор, и огород, а, стало быть, маменька с сыном могли камни где-нибудь и зарыть, а, ведь, всей усадьбы не перероешь!..

— Это так, господин начальник.

— Так вот-с, я придумал следующее: ведь, тебя-то они знают хорошо?

— Еще бы, чуть ли не за родного считают!

— Прекрасно! Ты сегодня же к вечеру прибежишь к пей, запыхавшись, и, передав узелочек с фальшивыми драгоценностями, шепнешь ей испуганно: «Хозяин велел мне передать этот узелок с вещами и приказал вам спрятать его скорее туда же, где во вторник он спрятал бриллианты. За ним следит полиция, и он не хотел идти сам, а прислал меня». После чего ты сунешь ей узелок и без оглядки пустишься бежать обратно сюда. Сумеешь ли ты выполнить все это?

— Ну, и почему же нет? Все выполню, господин начальник.

Посланные мною агенты через час, примерпо, раздобыли по лавкам десятка два «драгоценностей» в виде серег, колец с цветными фальшивыми камнями, толстых цепочек нового золота и т. д. Шмулевич завязал их в свой грязный носовой платок и помчался за Драгомиловскую заставу в сопровождении (на приличном расстоянии) моего дельного и опытного агента Муратова. Я занялся делами и не заметил, как прошло время. Часам к десяти вечера явился сияющий Шмулевич и сообщил:

— Уй, господин начальник! Все исполнил, как было велено.

— Расскажи подробнее.

— Да, что рассказывать? Маменька ихняя переполошилась, заахала и обещалась в точности все исполнить, как велел сын; поспешно спрятала мой узелок к себе в карман, а я побежал назад.

— Ну, молодец, Семен! Получай обещанное! — и я протянул сияющему Шмулевичу сторублевку.

Утром в кабинет мой явился Муратов и торжественно выложил на письменный стол нитку крупных бриллиантов с красивым, старинной работы, фермуаром.

— Ну, Муратов, как было дело?

— Все обошлось чрезвычайно просто, господин начальник. Чуть только Шмулевич вышел от маменьки и удалился, как я тотчас же занял наблюдательную позицию, спрятавшись за плетнем, окружающим двор и домишко. Сидеть пришлось довольно долго и я стал уже подумывать, что вещи будут спрятаны где-либо в доме. Как вдруг в одиннадцатом часу, маменька вышла на крыльцо, оглядываясь кругом, а затем направилась через двор в сарайчик, взяла там лопату и пошла в самый конец двора, к колодцу. Ночь нынче лунная и я видел все, как днем. За колодцем она принялась рыть, вырыла вскоре жестяную коробку из-под печенья, вложила в нее узелочек Шмулевича и снова все закопала на прежнем месте, сровняла землю, набросала всякого хлама и, поставив лопату обратно в сарайчик, вернулась домой. Рано утром, чуть стало светать, я явился к маменьке с понятиями и потребовал от нее выдачи колье. Та упорно стояла на своем: «знать — не знаю, ведать — не ведаю». Тогда мы отправились к колодцу и, по моему указанию, вырыли спрятанное и составили обо всем протокол. Маменька притворилась крайне удивленной и продолжала упорно запирались.

— Вы прекрасно исполнили поручение, Муратов. Благодарю вас очень!

Мой агент поклонился.

Я приказал привести арестованного Федорова:

— Вот что, милый друг, — сказал я строго, — если ты вздумаешь и теперь еще запирались и не расска-

жешь, как было дело, то не только тебя, но и мамашу твою, зарывшую за Драгомиловской заставой, на дворе, у колодца вот эти бриллианты (я указал ему на камни, тут же разложенные), я упеку в Сибирь. Рассказывай лучше все по совести. Впрочем, можешь и не рассказывать, как знаешь, это дело твое,— и я лениво зевнул, поглядел на часы.— Ну, так как же? — спросил я, сделав паузу.

Федоров попыхтел, подумал, переступил несколько раз с ноги на ногу и, наконец, решительно тряхнув головой, быстро заговорил:

— Что же, раз уж камни у вас, то, стало быть, шабаш!.. Пропавшее дело!

— Рассказывай, как убивал и кто помогал?

— Никто не помогал, сам все проделал. Думал выйти в люди, да вот, сорвалось! Мое часовое дело не шло, едва-едва концы с концами сводил, жил бедно, а хотелось жить по-людски, ну, вот, дьявол и попутал. Встретил я на Тверском бульваре знакомого своего Ааропова, он в мастерских служит у ювелиров Штрандмана и Озолина, что у Кузнецкого Моста. Разговорились. И стал мне Аааронов хвастаться, что во, мол, у его хозяев какое большое дело, чуть ли не миллионное. Я ему сказал, что врешь ты все, лавчонка, как лавчонка,— одна ерунда. А он мне: «Вот так ерунда, когда наш Озолин прислал телеграмму, что приезжает завтра из Ростова и везет покупку! А знаешь ли, покупка-то какая? Бриллиантовое ожерелье в пятьдесят восемь тысяч! Вот тебе и лавчонка!» И запал мне в душу этот разговор. Вот ведь случай разбогатеть, лишь бы обмозговать все, да обделать чисто дело. Я тут же на бульваре стал обдумывать план. Если не брать ничего у Озолина из ценных вещей, кроме ожерелья, то не подумают, что тут грабеж, а чтобы не узнали убитого, я собью полицию с толку, подложив убитому фальшивые метки. Я выбрал букву «K», так как под рукой у меня имелся только что закупленный серебряный портсигар с таким вензелем, белый платок с такой меткой, да я тут же купил бумажник с такой же монограммой. Бумажник мне нужен был, кстати, и для обмена с убитым, так как у последнего могли быть при себе и большие деньги; оставить же его совсем без бумажника — невозможно, уж больно

будет походить на убийство с целью грабежа. Помню, что я спросил еще Ааропова, будто невзначай: как это, мол, Озолин не боится возить при себе такие ценности. А он ответил: «Чего же бояться, Озолин возьмет в ростовском поезде маленькое купе и будет ехать в нем один, кто же может украсть у него вещи?»

В ту же ночь я выехал в Тулу, где решил дожидаться ростовского поезда на Москву. Озолина я хорошо знал в лицо. Он, действительно, ехал в этом поезде и в Туле, выйдя из вагона первого класса, купил в буфете коробку пряников, погулял по платформе и сел обратно к себе. Я устроился в том же вагоне. Купе Озолина было третье. Отъехав от Тулы верст пятьдесят, я уллучил время и, подойдя к озолинскому купе, запасенным железнодорожным ключом, тихонько повернул замок и приотдвинул дверь. Озолин лежал на спине, крепко спал и похрапывал. Я тихонько вошел и страшным ударом кинжала в сердце уложил его на месте. Он не вскрикнул, не пошевелился даже. После этого я быстро задвинул дверь, запер ее на ключ и принялся искать ожерелье. Оно оказалось во внутреннем жилетном кармане. Выхватив его бумажник, я подложил ему свой, заранее подготовленный, с 275 рублями. В один карман брюк сунул платок, а в другой — портсигар и, выйдя в коридорчик, снова закрыл его дверь на ключ и быстро прошел в уборную. В его бумажнике оказалось немного, — только чetyреста с чем-то рублей. Я переложил их в карман, а бумажник спустил в клозет. После чего я старательно помылся и прошел к себе в купе. В Москве 2-ой я вышел из поезда и поплелся домой пешком. Что было дальше — не знаю. Рассказал вам всю чистую правду.

Суд приговорил Федорова к восьми годам каторжных работ за предумышленное убийство.

Желая исполнить свое обещание, я намеревался было пристроить «православного» Семена в какой-либо часовой магазин, но Шмулевич, неожиданно войдя во вкус розыскного дела, упросил меня оставить его при сыскной полиции. Впоследствии из него выработался, хотя и небольшой, но довольно толковый агентик, специализировавшийся по розыску собак и кошек.

«НАЧАЛЬНИК ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ»

Мой надзиратель Сокольнического участка Швабо мне как-то докладывает:

— Сегодня, господин начальник, я получил в Сокольниках довольно странные сведения. Зашел это я в трактир «Вену», поболтал с хозяином, что я делаю часто, так как трактирщик поговорить любит и нередко снабжает меня сведениями. Как раз сегодня он рассказал мне любопытную историю. К нему в трактир частенько заходит некий Иван Прохоров Бородин, человек лет пятидесяти, местный богатей, владелец кирпичного завода. Иван Прохоров пользуется в Сокольниках большим весом. Знакомством с ним трактирщик дорожит и, видимо, гордится. Так вот, с этим Иваном Прохоровым третьего дня приключилось неприятное и странное происшествие. Сидел он в «Вене» и мирно пил с трактирщиком чай. Вдруг подъезжает автомобиль, из которого вылезает жандармский офицер с двумя нижними чинами и каким-то штатским. Войдя в трактир, они без всяких объяснений арестовывают Бородина и увозят его неизвестно куда. Однако, через сутки, то есть вчера, Бородин, в сильно подавленном настроении, опять появился в «Вене» и, по секрету, рассказал трактирщику, что его жандармы отвезли в Охранное Отделение, обыскали, припугнули высылкой из Москвы, отобрали находившийся при нем, пяти тысячный билет ренты и выпустили до завтра под условием доставки в Управление еще пяти тысяч рублей, в противном случае — арест и высылка в Нарымский край — неминуемы. Иван Прохоров очень напуган и собирается завтра внести требуемые пять тысяч, лишь бы уцелеть. Такой испуг и покорность трактирщик объясняет тем, что прошлое Ивана Прохорова, согласно молве, не совсем чисто. Как уверяют, богатство его пошло от «гуслицких денег».

Выражение «гуслицкие деньги» давно стало нарицательным. Дело в том, что лет двадцать пять—тридцать тому назад нашумело на всю Россию дело шайки фальшивомонетчиков, занимавшихся выделкой фальшивых кредитных билетов в селе Гуслицы Московского уезда.

Я приказал Швабо сейчас же отправиться к Бородину и в самой мягкой форме пригласить его для переговоров к начальнику сыскной полиции.

Как выполнил мое поручение Швабо, мне точно не известно, но, надо думать,— не очень дипломатично. Сужу я об этом по словам Швабо, который, привезя часа через три Бородину в сыскную полицию, зашел доложить о выполнении поручения.

— Сообщив Бородину о вашем, господин начальник, предложении явиться, я поверг его в ужас.

— Господи! — воскликнул он. — Да что же это такое? Вчера начальник охранного отделения, сегодня начальник сыскной полиции! Да ведь этак никаких денег не хватит!..

Но, видимо, спохватившись, он быстро оделся и, не сказав ни слова больше, приехал со мной.

— Позовите, пожалуйста, его!

Ко мне вошел высокий, плотный человек с красивым, умным и симпатичным лицом, с седоватой бородой и висками. На лице его я прочел какую-то окаменелость, отражавшую не то горе, не то старательно скрываемую тревогу.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал я возможно приветливее.

— Благодарю покорно! — и он, не торопясь, сел.

— Расскажите, пожалуйста, что за странная история произошла с вами? Почему отобрали у вас пять тысяч, да и намереваются отобрать еще столько же?

— Какие пять тысяч? — спросил Бородин, делая изумленное лицо. — Я даже в толк не возьму, про что это вы изволите говорить? Никаких пяти тысяч у меня не брали, да и вообще я ни на что не жалуюсь и всем премного доволен.

— Да, полно, Иван Прохорович, говорить-то зря! Я вызвал вас для вашей же пользы. Ясно, что вы палатели на мошенников, они чем-то напугали вас, — вы и отпираетесь от всего. Если бы вас в «Вене» арестовали

настоящие жандармы, то так скоро не выпустили бы, да и денег не потребовали бы. Раскните-ка умом хорошенько и расскажите откровенно и подробно, как было дело. Я же добра вам желаю!

Пока я говорил все это, лицо моего собеседника из бледно-желтого постепенно превратилось в багрово-малиновое и пот мелкими каплями выступил у него на лбу. Он стал дышать тяжело и, хрустнув вдруг пальцами, взволнованно и торопливо заговорил:

— Ваша правда, господин начальник! Что я буду в самом деле скрывать? Мне и самому показалось, что тут дело не совсем чисто. Ежели можете — защитите; по Христом Богом молю — не выдавайте, а я все, все, по совести, расскажу. Вчерашний день меня арестовали в «Вене» какой-то жандармский офицер с двумя солдатами и одним вольным человеком. Посадили в машину и отвезли в Скатертный переулок, как сказали мне, в Охранное Отделение. Номера дома не помню, но на вид признаю. Поднялись мы на третий этаж. Там меня сейчас же обыскали и отобрали бумажник, в нем была пятитысячная рента, да триста рублей денег. Бумажник с деньгами обвязали шнурками и запечатали печатями. Затем посадили меня в прихожую и говорят: «Подождите здесь! Начальник сейчас занят». Сажу я так полчаса, сажу час. Мимо меня провели какого-то человека в наручниках, потом прошло два жандармских унтер-офицера. Наконец, пришел жандарм и повел меня к начальнику. Вхожу: большая комната, посредине письменный стол, заваленный бумагами, а за ним господин в штатском платье. Я остановился. Он даже не взглянул на меня, а продолжал что-то быстро писать. Прошло этак минут десять. В кабинет вошел жандармский офицер и положил на стол огромный портфель и передал какую-то бумагу. Начальник пробежал ее глазами и говорит: «Я сейчас распоряжусь». Затем взял телефонную трубку, назвал какой-то номер. «Это вы, Савельев?» — говорит начальник Охранного Отделения. — Немедленно берите людей и арестуйте Петровского и, пожалуйста, поживее!» Наконец, он поднял голову и обратился ко мне: «Так вот ты какой гусь! Давно мы за тобой следим да в старом твоём разбираемся. Ну, теперь полно! Погулял — и будет! Давно пора под замок».

— Помилуйте, господин начальник,— взмолился я.— Да за что же это? Я живу, слава Богу, смирно, по-хорошему, зла никому не делаю. За что же меня под замок?

— Ну, брось дурака валять, да невинность разыгрывать! — крикнул он мне.— А «гуслицкие дела» вабыл?

Я так и обмер.

— А что это за «гуслицкие дела»? — спросил я у Бородина самым невинным тоном.

— Да что уж тут таить, господин начальник! Случилось это лет двадцать пять тому назад. Был я тогда еще мальчишкой и сбили меня с толку фальшивомонетчики, выделявавшие деньги в селе Гуслицах. За это я отбыл наказание и с той поры живу по-честному. Как вспомнили мне про гуслицкие деньги, вижу, дело плохо! Начальник приказал принести мой бумажник, сорвал с него печати, вынул билет и деньги и говорит:

— Много к твоим рукам прилипло гуслицких денег, да черт с тобой! Тут у нас завелось благотворительное дело и деньги нужны, а их нет. Предлагаю тебе следующее: я под эти пять тысяч освобождаю тебя до послезавтра с тем, чтобы к двум часам дня ты доставил сюда еще пять тысяч рублей. Принесешь — я отпущу тебя на все четыре стороны, не принесешь — пеняй на себя! Ты будешь немедленно арестован и выслан в двадцать четыре часа из Москвы в Нарымский край доить тюленей.

С этими словами начальник отпустил меня, оставив, однако, у себя ренту в три сотенных билета.

— Вот что! — сказал я Бородину.— Идите с моим агентом и укажите в Скатертном переулке дом, куда вас возили, а завтра, в одиннадцать часов утра приходите опять ко мне.

Бородин указал дом и мы навели у дворников справку о жильцах третьего этажа. Они оказались людьми смиренными, не внушающими подозрений. Узнали мы и номер телефона квартиры. Но что же было делать дальше? Нагрянуть с неожиданным обыском мне не хотелось, так как мошенников могло случайно и не оказаться дома. Взятая у Бородина рента могла быть тоже унесена, да, наконец, Бородин и не помнил номера своего билета, следовательно, даже при захвате афе-

ристов. последние смогут от всего отпереться, тем более, что свидетелей не имелось. Поэтому я остановился на ином плане. За домом и особенно за квартирой третьего этажа было установлено наблюдение. Я же стал ждать завтрашнего ко мне визита Бородина.

Через несколько часов по установлении наблюдения прибегает один из агентов и докладывает, что из квартиры третьего этажа вышел Василий Гилевич, хорошо известный нам по ряду мелких мошенничеств. Василий был родным братом Андрея Гилевича, убийцы студента Прилуцкого, громкое дело которого я уже описал в одном из предыдущих очерков. Очевидно, Бородин шантажировал этот «достойный» представитель не менее «достойной» семейки.

Я пригласил к себе в кабинет стенографа и дворника в качестве будущих свидетелей и усадил их к отводным трубкам моего телефона. Когда явился Бородин, я побеседовал с ним минут десять, стараясь уловить его манеру говорить, его язык, интонации голоса и т. п. После чего заявил ему: сидите смирно и слушайте! Агент-стенограф, сидевший у одной из отводных трубок, приготовил лист бумаги и карандаши, дворник деликатно взял свою отводную трубку двумя «пальчиками». Когда все было готово, я подошел к аппарату.

— Барышня, дайте номер такой-то!

— Готово!

В трубке послышался женский голос:

— Я вас слушаю...

— Нельзя ли попросить к телефону господина начальника?

— Хорошо, сейчас!

Вскоре раздался мужской голос:

— Алло, я вас слушаю!

— Это вы, господин начальник?

— Гм... Кто говорит?

— Это я, Иван Прохоров Бородин, которому вы сегодня приказали явиться.

— Ну, что, мошенник, деньги готовы?

— Не сердите на меня, господин начальник! Ей-богу, к двум часам не достать, обещаны они мне в четыре. Вот я и звоню. Уж вы позвольте мне опоздать на два часа, ранее никак не справлюсь! Ведь, пять тысяч — капитал, его сразу не соберешь!

— Ах ты, растяпа! Ах ты, сонная тетеря! Ну, черт с тобой! Но помни, что если в четыре не явишься — в двадцать четыре часа вылетишь из Москвы. А откуда ты телефон мой узнал? Разве на станции сообщают номер Охранного Отделения? (и в голос послышалась тревога).

— Никак нет, господин начальник! Я третьего дня, стоя у вашего стола, покуда вы писали, приметил номер вашего телефона, стоящего на столе.

— Ну, ладно, проваливай! И помни: в двадцать четыре часа!

Затем послышалось глухо: «Ротмистр, установите опять немедленно наблюдение за Бородиным!». После чего трубка была повешена.

— Вы успели все записать? — спросил я своего агента-стенографа.

— Так точно, все.

— А ты все слышал? — спросил я дворника.

— Известное дело — все! А только, господин начальник, я понимаю, что тут без убийства не обойтись! — отвечал глубокомысленно дворник.

— Ну, и понимай на здоровье! — сказал я, смеясь.

Бородин, наблюдавший всю эту сцену, сидел ни жив, ни мертв. В нем, видимо, боролись разноречивые чувства. С одной стороны, еще прочно сидел страх перед грозным начальником Охранного Отделения, с другой — он видел, что во мне нет и тени сомнения в наличии мошенничества; вместе с тем, ему думалось, а что, если начальник сыскной полиции ошибается? Всю эту сложную гамму переживаний я прочел на его взволнованном, красном лице.

К четырем часам я откомандировал моего помощника В. Е. Андреева с четырьмя агентами в Скатертной переулок для ареста всех людей, находящихся в «Охранном Отделении». Я рекомендовал ему пригласить с собой и участкового пристава с нарядом городских, но В. Е. Андреев нашел, очевидно, это лишним и, понадеясь на собственные силы, отправился один исполнять поручение.

Через час он мне звонит и сообщает:

— Тут, Аркадий Францевич, получается неожиданное затруднение. Дело в том, что мы арестовали трех мужчин, переодетых жандармами, и женщину, нахо-

дившуюся в квартире, но не доглядели за Гилевичем, который успел проскочить в заднюю комнату, заперся там на ключ и забаррикадировал дверь. Он заявляет, что при малейшей с нашей стороны попытке форсировать его убежище он пристрелит нас, как собак, из имеющегося, якобы, при нем револьвера. Что прикажете делать?

Ничего не оставалось, как ехать самому. Зная, что Гилевичи люди довольно «предприимчивые» и не оставаются ни перед чем, я вытребовал из полицейского депо непробиваемый панцирь, в который и облачился. В руки я взял портфель со вложенной в него пластинкой из того же, что и панцирь, состава и, приехав в Скатертной переулок, я прикрыл голову портфелем и подошел к дверям, за которыми находился Гилевич.

— Эй, вы там, осажденный портартурец, сдавайтесь! Не заставляйте напрасно выламывать дверь!

Гилевич сразу узнал мой голос и злобно отозвался:

— Что, за третьим братом приехали?

— Да, уж я и не помню, за которым по счету. Одно знаю, что все хороши!

— Собственно, что вам от меня нужно?

— А вот выйдете, господин начальник Охранного Отделения, тогда и поговорим.

— Не советую вам, господин Кошко, подходить к двери, а то получите пулю в лоб!

— Полно, Гилевич, дурака валять. Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам, вам же хуже будет. Сами знаете, чем пахнет вооруженное сопротивление властям.

Последовала длинная пауза. А затем щелкнул замок, дверь быстро распахнулась (баррикады оказались лишь в воображении Андреева) и на пороге предстал Василий Гилевич.

— Сдаюсь! — было первое его слово. — Ваше счастье, что не было со мной Андрюшиных капель (это был намек на цианистый калий, которым отравился его брат, убийца Прилудского), а то не взять бы вам меня живым!

Ему тотчас же надели наручники и повезли в сыскную полицию.

Обыск на квартире решительно ничего не дал.

— Ну-с, Гилевич, а теперь поговорим! — сказал я ему у себя в кабинете. — Прежде всего, где те пять тысяч рублей, что отобраны вами у Бородина?

— Какие пять тысяч?

— Скажите! Не знаете? Быть может, и Бородин вам не знаком и не был у вас третьего дня?

— Бородин я знаю, и третьего дня он, действительно, у меня был. Я беседовал с ним о заказе на кирпичи, но о пяти тысячах слышу впервые.

— Ну, уж это даже глупо! Вы сами понимаете, что в вашем положении лишь чистосердечное признание может облегчить вам предстоящее наказание, а вы вдруг, вместо этого несете какую-то ерунду? У меня же есть живые свидетели против вас.

— Послушайте, господин Кошко, вы, кажется, принимаете меня за болвана и пытаетесь наивно ловить! Повторяю вам, что о деньгах слышу впервые, а кроме того, вообще все разговоры с Бородиным я вел с глазу на глаз, а не перед свидетелями.

— Вы так думаете?

— Не только я так думаю, но и вы думать иначе не можете.

Я нажал кнопку звонка.

— Позовите ко мне свидетелей! — приказал я.

В кабинет вошли стенограф и дворник.

— Будьте любезны, — обратился я к стенографу, — прочтите то, что вы слышали и записали.

Агент прочитал запись моего утреннего разговора по телефону с Гилевичем, воспроизведенного им с абсолютной точностью. Я обратился к обоим свидетелям:

— Готовы ли вы принять присягу в том, что собственными ушами слышали этот разговор?

— Да хоть сейчас, господин начальник!

Гилевич долго сидел с раскрытым ртом и выпученными от изумления глазами. Наконец, он произнес:

— Ну-у-у?! Если так, то, конечно, мне ничего не остается, как рассказать правду. Но, ради Бога, удовлетворите мое любопытство, откройте мне эту изумительную тайну!

— Хорошо! Но, предварительно, дайте ваше откровенное показание.

Гилевич во всем признался, рассказав и о своем самозванстве, и о переодевании своих друзей в жан-

дармскую форму. Квартира ему была предоставлена его приятелем-техником, уехавшим на двадцать восемь дней в отпуск и не подозревавшим ничего дурного. Гилевич заявил мне, что, получи он дополнительные пять тысяч рублей от Бородина,— и след его простыл бы, так как на следующий же день он намеревался уехать за границу, где, по его словам, подготавливалось им дело мирового масштаба.

— А ваша тайна? — спросил он меня.

— Вот она! — и я указал ему на телефон и две отводные трубки. Гилевич шлепнул себя по лбу и с горечью в голосе расхохотался. Суд приговорил его к полутора годам арестантских рот с лишением прав состояния. К сообщникам его присяжные заседатели отнеслись милостиво: они были оправданы.

КРАЖА У ГРАФА МЕЛЛИНА

В Венденском уезде Лифляндской губернии в имении местного магната, графа Меллина, была совершена крупная кража. Событие это, насколько помню, относится к самому началу девяностых годов. Расследование кражи, совершенной в уезде, не входило в мою компетенцию, но жалоба графа местному губернатору, М. А. Пашкову, на бездействие венденской полиции, побудила последнего обратиться ко мне с предложением взять это дело в свои руки.

Из слов губернатора оказалось, что у графа похищен ряд ценностей: несколько пудов серебра, несколько золотых столовых приборов, целая коробка мелких бриллиантов, коллекция старых миниатюр, несколько драгоценностей графини, процентные бумаги и т. д.

Взяв с собой двух дельных чиновников — Грундмана и Лейна, я выехал на место.

Имение графа Меллина было великолепно. Этот потомок ливонских рыцарей, несколько веков тому назад осевших в этом краю, окружил себя самой пышной роскошью. Его дом был настоящим дворцом.

Мне и моим спутникам отвели целый апартамент. Мы приехали ранним утром и нас встретил не то управляющий, не то мажордом. Нам тотчас же подали элегантно сервированный чай и управляющий заявил, что аудиенцию мне граф назначил на двенадцать часов.

Действительно, ровно в полдень я был принят. Граф держал себя любезно, но величественно. Он просил меня напрямь все усилия к раскрытию этой кражи, а затем тут же заявил, что «выход» графини состоится к завтраку. Это был поистине «выход». Она пожаловала к столу в нарядном туалете, в бриллиантах, окруженная несколькими приживалками, игравшими, очевидно, роль свитских фрейлин. Завтрак про-

шел довольно чопорно. Графиня, заговорив о краже, особенно жалела маленькую золотую книжечку, служившую для записи имен танцоров, которым был обещан танец. На крышке этой книжечки, по ее словам, находилась миниатюра удивительной работы, а под ней крошечные часики, величиной не более серебряного гривенника,— настоящий шедевр!

К завтраку был приглашен и местный начальник уезда, безуспешно до сих пор записывавшийся раскрытием кражи. Побеседовав с ним после завтрака, я пришел к заключению, что розыск велся крайне небрежно и поверхностно.

Прежде всего я принялся за осмотр поля действия. Вещи оказались похищенными из несгораемого шкафа новейшей конструкции, помещавшегося в небольшой комнате, примыкавшей к кабинету графа. Помещение это было расположено в первом этаже дома, где находились лишь парадные комнаты и людские; снаружи имелись две двери,— подъезд и дверь со стеклянной террасы из сада. Сад примыкал к озеру, с версту, примерно, шириной; на противоположном берегу озера виднелся лес. Ключи от несгораемого шкафа хранились в письменном столе графа, о чем знал лишь встретивший нас управляющий. Порядок в доме был чисто немецкий. Граф лично перед сном осматривал запоры, вследствие чего проникнуть ночью в дом, не ломая замков, без помощи изнутри, представлялось немыслимым. Между моментом последнего осмотра графом своего шкафа и обнаружением им кражи, прошло трое суток,— в течение этого срока воры беспрепятственно могли распоряжаться награбленным. К этому нужно прибавить еще неделю, время, потраченное начальником уезда на бесплодные розыски. Столь длительный промежуток позволил, конечно, ворами не только тщательно припрятать украденное, но и замести следы.

Тщательный осмотр замков шкафа и дверей показал, что все они открывались ключами, так как отмычки, даже при самом аккуратном применении, оставляют все же следы в виде царапин.

Я спросил графа, уверен ли он в своем управляющем.

— Как в самом себе! — отвечал он.— Мейер живет у меня двадцать лет и предан мне душой и телом. Да,

наконец, он поставлен мною в исключительно благоприятные условия: я выстроил ему дом, подарил пятьдесят десятин земли, его сыновья, при моей поддержке, получили высшее образование. Что бы ни говорили,—благодарность людская не пустой звук и ей, конечно, не может быть чужд и мой Мейер. Что касается других служащих, справьтесь о них у него, я ими не интересуюсь, предоставляя Мейеру набирать штат прислуги.

Закончив осмотр и получив отзыв графа об управляющем, я стал в тупик. Вес похищенного достигал, примерно, десяти пудов; чтобы вынести эту тяжесть из дома и благополучно сплавить ее, требовалось участие нескольких людей и, пожалуй, даже лошади.

К вечеру вернулись Грундман и Лейн, прошедшие день в окрестностях. Слухов, сколь-нибудь наводящих на след, уловить им не удалось. О графине люди отзывались хорошо, а графа рисовали, как очень скупого человека, чуть ли не по золотникам отвешивавшего хлеб своим служащим.

— Можете ли вы мне дать точный список всей прислуги, как находящейся сейчас в доме, так и служившей в нем за последние годы? — спросил я у Мейера.

— О, да, конечно! Я человек аккуратный и веду для этого особую книгу. Если угодно, то я на полях отмечу вам даже, когда и за что был уволен тот или другой человек.

— Прекрасно! Пожалуйста.

С той же просьбой я обратился и к начальнику уезда.

Вскоре управляющий представил мне списки, по которым набралось фамилий сорок. Против некоторых имен значилось: «уволен за хищение сладкого», «рассчитан за грубость», «лишен аккуратности» и т. д.

Ознакомившись со списком, мы не нашли в нем имен, известных по преступному прошлому рижской полиции.

— Скажите,—спросил я управляющего,—был ли осмотрен лес, на противоположном берегу озера?

— Да, уездный начальник его осматривал.

Я решил все же на следующий же день еще раз внимательно проделать этот осмотр.

Когда явился приглашенный мной начальник уезда, я задал ему вопрос:

— Вы хорошо осматривали лес?

— Да мы его вовсе не осматривали.

— Как не осматривали? А что же говорит Мейер?

— Не знаю.

Призвав управляющего, я выразил ему свое удивление. Он как-то замялся и принялся уверять, что я не так его понял, что лес, действительно, не осматривался.

— Хорошо! Вы пока мне не нужны. Теперь я хочу поговорить с начальником уезда.

Управляющий неохотно удалился и, как мне показалось, не отошел от закрытой двери. Я быстро распахнул ее и чуть не подшиб Мейера. Он принялся слащаво предлагать мне чаю, делая вид, что специально для этого вернулся.

— Благодарю вас! Не нужно нам чаю. Оставьте нас вдвоем.

Мейер поклонился и на этот раз ушел окончательно.

— Да, кстати! Вы просили у меня список служащих,— сказал мне начальник уезда,— извольте, вот он. Я взял его из мызной полиции.

Я не подозревал даже о существовании такого учреждения. Сравнив полученный оттуда список со списком управляющего, я, к удивлению моему, нашел в нем имя некоего Отто Вильнеса, бывшего лакея графа, год назад уволенного и не помещенного в справку управляющего.

Поделившись с моими агентами сделанным открытием, я услышал от Грундмана следующее заявление:

— Отто Вильнес? Мне это имя хорошо знакомо. Вы еще не служили в Риге, господин начальник, когда этот молодец преследовался нами за крупную кражу. Я припоминаю теперь и его воровскую кличку — «вине-фрейлейн», что по-русски значит «старая дева». Видимо, мы напали на след воров.

Я приказал моим агентам помалкивать до поры до времени, так как требовалось не только разыскать похитителей, но и обнаружить похищенное. Не к чему было оповещать Мейера, очевидно, замешанного в эту кражу, о наших предположениях, так как последний

мог бы предупредить об опасности своих сообщников.

Особое внимание я остановил на лесе, так как, всего вероятнее, через него были увезены украденные вещи. Перенести на руках похищенное из дома к озеру не представляло особого труда, для этого нужно было пройти по саду саженей тридцать. Тут же стояли привязанные лодки. Погрузив в одну из них похищенное и переплыв на тот берег, можно было, не торопясь, переложить поклажу в телегу, поджидавшую воров где-нибудь в гуще деревьев. Тут же, кстати, начиналась дорога, пересекающая лес и ведущая в соседние деревни.

Поэтому, на следующее утро человек тридцать во главе со мной, Грундманом и Лейном направились в лес. Он занимал довольно значительную площадь, — приблизительно десятии четыреста. А потому на первый раз я ограничился осмотром дороги с прилегающей к ней полосой, сажен в двести шириной. Через несколько часов поисков, под одним из ореховых кустов, были найдены пустые дубовые ящики из-под серебра. Кроме того, Грундман опознал местность, заявив, что в конце дороги находится мельница, принадлежащая брату Отто Вильнеса. Вечером мы вернулись домой и граф, увидев найденные ящики, окрылился некоторой надеждой. Последующие обыски леса ничего не дали.

Дальнейшее пребывание в имении показалось мне излишним и мы вернулись в Ригу. Однако, перед отъездом, я зашел в ближайшее почтовое отделение, обслуживающее имение, чтобы повидать почтмейстера:

— Знаком ли вам почерк управляющего Мейера?

— Как же, прекрасно знаком.

— Так вот, будьте любезны, проиллюстрировать все письма, как отправляемые им, так и получаемые на его имя. Снимайте за мой счет с них копии и высылайте их мне. Конечно, от вас требуется соблюдение полной тайны.

Приехав в Ригу, я тотчас же кинулся разыскивать Отто Вильнеса. По справкам адресного стола, его в городе не оказалось. Тогда я решил послать агента на мельницу к брату Вильнеса. Командировка эта представлялась нелегкой, так как надо было осмотреть мельницу и ознакомиться с ее обитателями, не воз-

буждая при этом никаких подозрений; между тем Вильнесы были крайне недоверчивы и осторожны и по своему прошлому хорошо знали методы и приемы сыска.

Поэтому был выработан следующий план:

В Риге имелось Евангелическое общество, распространявшее среди населения печатные экземпляры Евангелия. При нем состояло много коммиссионеров, расхаживавших по губернии с особыми сумами, наполненными священными книгами. Посхав в это общество, я выхлопотал мандат, суму и десять экземпляров Евангелия на имя моего агента Лейна, который и отправился на мельницу. Со станции железной дороги и до самой мельницы он шел пешком, без шапки, углубляясь в чтение Священного Писания. На мельнице он застал брата Вильнеса, но «вице-фрейлейн» отсутствовал. Вернулся Лейн, в сущности, ни с чем. Он выяснил лишь, что Вильнесы родные племянники Мейера со стороны матери.

Я принялся за выработку нового плана розыска воров, как вдруг получаю копию, снятую почтмейстером с письма управляющего к Отто Вильнесу. Письмо было адресовано в Ригу и заключало в себе следующие строки:

«Милый Отто,

На днях из Риги приезжала к нам охота. Поохотилась в лесу, кое-что убила, а затем, потеряв всякие следы дичи, вернулась восвояси. У нас снова тишина и покой».

Я сейчас же кинулся с агентами по адресу этого письма. Указанная квартира оказалась не на имя Вильнеса, но в ней мы застали его мать.

- Где ваш сын? — спросил я ее.
- Отто третьего дня уехал в Петербург.
- Какой его адрес в Петербурге?
- Этого я не знаю, он еще не писал.

Мы стали производить обыск в квартире, но из похищенного у графа ничего не пашли. Грундман заметил, однако, что старуха все время держит в руках какую-то книгу, не отпуская ее ни на минуту. Он отобрал ее и, перелистав, нашел запечатанное письмо, адресованное управляющему Мейеру. Конверт был вскрыт. Письмо оказалось следующего содержания:

Отправляюсь сейчас на вокзал, еду в Петербург. Спешу вам ответить на сегодняшнее письмо. Рад, что охота от вас уехала. У нас тоже все спокойно. Огорчу вас лишь тем, что сообщу о смерти бедного Яниса, умершего в субботу и похороненного пять дней тому назад. Я был на кладбище и отнес ему на могилу наши слезы. Ждите от меня дальнейших известий.

Ваш Отто»

— О каком это умершем Янисе пишет ваш сын? — спросил я мать Вильнеса.

— Не знаю. Мало ли у него знакомых!

— Почему у вас это письмо?

— Мой сын, уезжая, просил отправить его, а я все еще не собралась.

Оставив одного из агентов в квартире Вильнеса, я припаялся за выяснение личности умершего Яниса. Могилу его нам важно было разыскать, так как, по разъяснению Грундмана, выражение «слезы» на латышском языке часто употребляется вместо слова «бриллианты». Поэтому, были основания полагать, что Отто в своем письме говорил о зарытых в могиле Яниса бриллиантах.

Были запрошены все православные церкви, кирки, костелы и синагоги Риги, чтобы узнать, не хоронились ли ими за последнюю неделю некий человек по имени Янис. Отоvsюду получились отрицательные ответы. Я был в полном недоумении, но священник одной из приходских церквей посоветовал мне обратиться еще за справками к священникам двух расквартированных в Риге полков — Изборского и Мало-Ярославского. Оказалось, что на прошлой неделе в домашней церкви Мало-Ярославского полка был отпет и похоронен на полковом кладбище солдат 4-й роты Иван Либус, которого в общежитии товарищи всегда звали Янисом.

Получив эти сведения, я поехал к рижскому архиепископу, рассказал ему, в чем дело, и просил разрешения отрыть и осмотреть могилу Яниса. Высокопреосвященный ответил мне весьма дипломатично:

— Я не могу разрешить раскапывать могилу умершего христианина, так как сие противно канонам нашей церкви. Но никому не возбраняется, однако, привести могилу в порядок, чтобы придать ей более благо-

лепный вид. Можете обложить ее дерном, выпутать и обновить крест, увеличить могильную насыпь. Если вам желательно произвести означенный ремонт, то с моей стороны препятствий не встречается.

Я проявил, конечно, горячее желание заняться украшением могилы Яниса и, получив благословение и письменное разрешение Высокопреосвященного, с двумя агентами отправился на военное кладбище. Взяв постового городского и кладбищенского сторожа в качестве понятых, мы без труда нашли могилу Яниса и принялись за ее осмотр. Срыв могильный холм и вынув белый деревянный крест у его основания, на глубине, примерно, полуаршина, мы нашли большой стальной игольник. Он оказался наполненным бриллиантами. По составлению протокола, крест был вооружен на место и могила приведена в полный порядок.

Прошла неделя-другая, а «вице-фрейлейн» все еще не возвращался из Петербурга. Я опять послал Лейна на мельницу, приказав ему на этот раз подойти к усадьбе Вильнеса с противоположного конца дороги, и с пустой сумой, словно возвращаясь обратно после обхода. Но, как и в первый раз, Отто на мельнице не оказался. Вскоре, однако, почтмейстер переслал мне еще одно письмо Вильнеса, снова адресованное дядюшке. Из него выяснилось, что Отто из Петербурга перебрался в Ревель и нанялся в лакеи к барону М. Он извещал дядю, что вскоре будет «работа». Мы помчались в Ревель, без труда нашли барона М. и, наконец, «вице-фрейлейн» был арестован. К нему удивительно шла вышеназванная кличка: это был высокий, высохший человек с лицом, совершенно лишенным всякой растительности, чувствительный, сентиментальный и плаксивый, с пискливым бабьим голосом. Он, действительно, похож был на старую деву. При допросе «вице-фрейлейн» решительно отрицал свою вину.

Так как арест его не мог остаться тайной для остальных сообщников, то, не теряя времени, я отправился на мельницу для производства обыска. Брат Отто был поражен, как громом, увидев появившегося со мной надзирателя Лейна, еще так недавно посещавшего его дом под видом смиренного книгопоши. При нашем приезде на мельницу Вильнес, почуя, очевидно, недоброе, схватил какую-то бумажку и сунул ее в

рот. Она была, однако, немедленно извлечена оттуда и оказалась запиской управляющего, сообщавшего племяннику, что от Отто поступили сведения из Ревеля.

Мы арестовали и этого брата Вильнеса, хотя старательный обыск во всем помещении не дал никаких результатов.

По возвращении в Ригу, мне доложили, что Отто Вильнес покушался в камере на самоубийство и с этой целью расковырял себе вену на руке при помощи железки, снятой им с конца шнурка собственного сапога. Лишь случайный приход надзирателя спас Вильнеса от смерти. Он был отправлен в тюремную больницу, где врач обещал вскоре поставить его на ноги.

Через несколько дней мне позвонил по телефону начальник тюремной больницы и сообщил, что у матери Вильнеса, посещавшей больного сына, при выходе из больницы, была отобрана библия, переданная ей Отто. Это оказался экземпляр обычного издания библии небольшого формата. Я стал внимательно его перелистывать, ища каких-нибудь знаков, подчеркнутых букв и т. д. Но никаких признаков условного шифра не обнаружил. Я отделил ее от корешка и на внутренней стороне последнего заметил подклеенную чистую белую бумажку. Осторожно отклеив ее и перевернув, я увидел мелко написанные строки. С помощью лупы можно было прочесть следующее: «Янис Либус, 4-й роты Мало-Ярославского полка, умер 5-го ноября, похоронен на полковом кладбище. На его могилу я отнес наши слезы». Ниже был нарисован могильный крест, а под ним стояла отметка карандашом.

Очевидно, мать успела сообщить Отто, что при обыске его письмо, адресованное дядюшке, было нами отобрано и Вильнес вторично извещал управляющего о месте нахождения бриллиантов. Им обоим не пришлось в голову, что письмо это было мной сфотографировано, подлинник же отправлен по назначению.

Дело было уже достаточно выяснено и я решил, что наступил момент арестовать Мейера. Агенты, отправившиеся с этой целью в имение графа Меллина, рассказывали мне, что граф страшно возмущался и всячески противился аресту своего управляющего, как акту ни с чем несообразному, жестокому и ненужному.

Но инструкции, данные мной, были категоричны и, несмотря на протесты графа, Мейер был все же арестован и привезен в Ригу.

Через несколько дней, как только Отто Вильнес оправился, я вызвал его к себе в кабинет.

— Вот что, Вильнес,— сказал я.— Вызываю тебя на допрос в последний раз. Хочешь — сознавайся, хочешь — нет, твое дело. Улики против тебя совершенно неопровержимы. Твой дядюшка Мейер и брат твой арестованы и сознались уже во всем, рассказав (тут я, конечно, пошел на ура), как вы ночью на лодке перевозили вещи.

«Вице-фрейлейн» недоверчиво улыбнулся.

— Не думай, что я говорю тебе это нарочно с целью изловить тебя. Повторяю, они во всем сознались и вот тебе доказательства: они выдали бриллианты, закопанные тобой на полковом кладбище под крестом Яниса. Вот они! (Я вынул из кармана игольник и рассыпал по столу бриллианты.) Вот записка Мейера твоему брату, также уличающая вас. Вот твое письмо из Ревеля, адресованное дядюшке. Вот бумажка, подклеенная в корешек библии. Наконец, не от чистой же совести покушался ты на самоубийство? Довольно тебе? Помни, что чистосердечное признание уменьшит тебе наказание.

«Вице-фрейлейн», огорошенный уликами, огорченный потерей бриллиантов, поверив, что дядюшка и брат его признались во всем, счел невыгодным больше заператься и произнес полную повинную. Со свойственной ему экспансивностью он принялся за самобичевание, но и судорожно вырывая клочья волос из своей и без того не пышной шевелюры.

— Едемте, едемте, господин начальник! Я покажу вам, где закопаны вещи, возвратите графу его имущество: не щадите нас, моженников! Так нам и надо, туда нам и дорога!

Не желая терять момента и боясь, как бы «вице-фрейлейн» не изменил своего решения, я тотчас же по телефону заручился паровозом и теплушкой и, взяв четырех агентов, вместе с Отто Вильнесом, выехал, по его указанию, на станцию Хинценберг. Здесь, в лесу, недалеко от станции, он привел нас к какому-то кусту и сказал: «Тут».

С помощью ломов и лопат разбили мы и разбросали уже подмерзшую землю и откопали большую высокую коробку из-под лавдриновского монпансье. В ней оказались свернутые в трубочку процентные бумаги и два браслета с пустыми гнездами от камней. Камни «вице-фрейлейн» успел продать уже при поездке в Петербург. Тут же рядом с жестянкой, в спичечной коробке, лежала книжечка графини с миниатюрой и часиками. К сожалению, случайным ударом лопаты был отколот краешек миниатюры и раздроблены часы.

От этого куста «вице-фрейлейн», ориентируясь по надломленным на деревьях ветвям, повел нас дальше, к следующему тайнику. Таких тайников оказалось целых десять.

Все похищенное было найдено, но, к сожалению, не все в сохранном виде. Так, например, огромные, серебряные блюда были разрублены на части, очевидно, для того, чтобы их легче было скрыть.

Предположения мои относительно того, как была произведена кража, вполне подтвердились. По признанию обвиняемых, дело происходило следующим образом. Два брата Вильнеса пробрались ночью в сад и, подойдя к стеклянной веранде, были нагружены ценной поклажей, переданной им дядюшкой их, — управляющим Мейером, который ключами графа, взятыми из письменного стола, открыл несгораемый шкаф и извлек из него все ценности. Братья в несколько приемов перенесли похищенное от веранды к озеру, нагрузили лодку и переплыли на противоположный берег озера и взвалили все добро на поджидавшую их подводу. Один из них повез добычу, другой вернулся и отнес ключ от цепи, на которой была лодка, поджидавшему его дядюшке.

Довольно своеобразную психологию проявил граф по отношению к Мейеру: он припался успешно хлопотать за него, всячески пытаясь смягчить его участь.

Сам Мейер не обнаружил особого раскаяния и отзывался о графе с ненавистью и раздражением...

Как тут не сказать после этого, что благодарность людская — звук пустой?!

МИЛЛИОН НА МОНАХА

Это несколько странное заглавие ставится мной над моим рассказом лишь потому, что под таким ярлыком числилось в свое время в московской сыскной полиции ловкое и весьма оригинальное мошенничество, о котором я и намерен рассказать.

Является ко мне как-то некий Стрельбицкий, довольно крупный мыльный фабрикант, и заявляет:

— Я, господин начальник, пришел к вам посоветоваться относительно одного, весьма заинтересовавшего меня, дела. Я получил крайне выгодное предложение, но столь странное, что просто не знаю, что о нем и думать. Впрочем, извольте посмотреть сами,— и он протянул мне какое-то письмо.

В нем значилось:

«Милостивый Государь,

По всесторонне наведенным справкам, нам удалось выяснить с несомненной точностью, как общую картину ваших торговых дел, так и весь ваш нравственный облик. Вы оказались прекрасным, честным человеком, а ваше мыловаренное предприятие — делом солидным и с обещающим будущим. Вместе с тем мы узнали, что в данный момент вы изыскиваете средства для расширения своих дел. Все это взятое вместе побуждает нас обратиться к вам с нижеследующим, но совершенно секретным, предложением. Мы можем ссудить вам один миллион рублей на крайне выгодных для вас и весьма существенных для нас условиях. Дело в том, что в одном из глухих монастырей провинции проживает некий архимандрит (он же и настоятель обители), у коего пмеется в одном из банков вклад на предъявителя в размере одного миллиона рублей, помещенных в 4 % государственной ренты. Несколько лет назад означенный архимандрит, не устояв от греха, сошелся

с некоей женщиной, правда, изумительной красоты, и прижил от нее ребенка — мальчика (теперь ему шесть лет). Вы знаете, конечно, что монашествующие, вместе с постригом и отречением от всего мирского, теряют и гражданские права: права семейственные, наследственные и т. д. И вот этот архимандрит, прихварывая последнее время и чуя близкую кончину, крайне озабочен мыслями о сыне. Завещать ему вклада он не может, перевести деньги на мать, — по ряду соображений, не желает, а потому поручил мне труд к отысканию надежного, честного и не бедного человека, каковой бы взял на свое попечение эту молодую, дорогую для него жизнь и надежно сберег бы к ее совершеннолетию отцовские деньги. В награду за эту услугу отец архимандрит предлагает исключительно выгодные условия займа. Вам предлагается миллион рублей под вексель сроком на 15 лет и с уплатою всего лишь 1 % в год, то есть 10 000 рублей, кои вы обязуетесь передавать матери на ее жизнь и воспитание ребенка. Вашей доброй совести предоставляется, конечно, возможность приумножить эти деньги ко дню совершеннолетия ребенка, но это обязательство не ставится вам в условия. Платите аккуратно ежегодную ренту матери и погасите вексель через 15 лет, — вот и все, что от вас требуется. Если означенное предложение вы найдете для себя приемлемым, то отвечайте тотчас же в Смоленск, почтовая контора, до востребования, по квитанции № 1462».

Лишь только я оторвался от чтения этого любопытного послания, Стрельбицкий поспешно спросил меня:

— Ну, что вы думаете обо всем этом?

— Думаю, что вас пытаются облапошить мошенники.

— Да неужели?!

— Разумеется! Не говоря уже о фантастичности самого предложения, но, насколько помню, до меня доходили уже смутные слухи об аналогичных за последнее время проделках в провинции. Надо думать, что «дельцы» перенесли свою работу в столицы, где и пытаются уловить доверчивые сердца.

Мой посетитель конфузливо улыбнулся и упавшим голосом промолвил:

— Вы знаете, что предложение мне показалось до того заманчивым, что я уже ответил в Смоленск и дал свое принципиальное согласие.

— Ах, вот как?!. Ну, и что же?

— Да пока ничего. Жду ответа.

— В таком случае, почему же вы обращаетесь ко мне?

— Видите ли, я написал было сгоряча, а как поразмыслил хорошенько, меня и взяли сомнения. После ваших же слов мои сомнения перешли в уверенность и я решил отказаться от этого своеобразного предприятия.

— И хорошо делаете. Однако, я прошу вас, во имя общественного интереса, помочь мне раскрыть эту тайну и этих предприимчивых мошенников.

— Я к вашим услугам. Но чем же могу я помочь?

— Не откажите привезти мне тот ответ, что получите вы из Смоленска.

— Хорошо. Я вам это обещаю.

На этом мы расстались.

Дня через три Стрельбицкий ко мне явился с ответом.

«М. Г.,

Согласно выраженного вами желания, назначаем вам день, час и место нашей будущей встречи. Предлагаем вам прибыть в Смоленск и 7-го июля, в 10 часов утра, пожаловать в Лопатинский сад, занять место на пятой скамейке справа по главной аллее, считая от ресторана. Я встречу вас и мною будет вам предъявлено для осмотра сохранное свидетельство банка. Все дело займет не более двух дней, а потому не запасайтесь лишними деньгами. Что касается вексельных бланков, то таковые, конечно, могут быть приобретены и здесь, а потому не хлопочите на этот счет в Москве. Отец архимандрит благодарит Бога за то, что удалось, наконец, найти человека, доброе имя которого служит верной гарантией в близком его сердцу деле.

До скорого и приятного свидания».

Прочитав этот ответ, я призадумался. Много разнообразных мошенничеств самых причудливых «колеров» было раскрыто мной за последние годы, но в каждом из них так или иначе выпирала душа, смысл, так сказать, предпринятой аферы. Здесь же я не улавливал

расчета в преступной комбинации. Для чего было вызывать в Смоленск человека и назначать ему свидание среди бела дня, на людном месте? Очевидно, не для насилия и грабежа. Для чего было придумывать сложную процедуру с векселем на 15 лет и не попытаться предложить хотя бы купить по дешевке хорошо подделанное сохранившееся свидетельство? Ведь не станет же человек подписывать миллионный вексель, не разглядев хорошенько банковского документа и не наведя справок в банке об этом вкладе вообще? На что же могли рассчитывать мошенники, обращаясь к немолодому, опытному и серьезному коммерсанту? Тщетно я ломал голову и не находил ответа. Это дело настолько заинтересовало меня, что я решил не только отправить в Смоленск опытных людей, но и съездить туда лично.

Моя внешность и фигура резко отличались от Стрельбицкого, а посему я счет нужным для пользы дела не лично заменить его, а предоставить эту роль моему способному агенту Швабо, кстати,— и без грима,— на него похожее. Эта предосторожность могла быть и излишней, так как Стрельбицкий не вел ни с кем из мошенников личных бесед, ограничиваясь письмами; но представлялось вероятным, что, изучая образ жизни своей будущей жертвы, мошенники могли мельком где-либо его видеть. Итак, к седьмому июля Швабо, запасшись паспортом на имя Стрельбицкого и приняв, по возможности, образ последнего, выехал в Смоленск. В том же поезде ехал и я с двумя агентами. В Смоленске Швабо остановился в одной гостинице, мы — в другой.

В десять часов утра Швабо, запасшись бумажником, набитым «куклами» (то есть, туго спрессованной газетной бумагой, обернутой в сторублевки) и кипой недорогих вексельных бланков, восседал уже в Лопатинском саду на указанной скамейке, а я и мои люди разгуливали непринужденно поодаль от него. Вскоре появился прилично одетый человек, подошел к Швабо и присел на скамейку. Я видел, как они вскоре раскладывались и пожали друг другу руки, после чего начался у них оживленный разговор. Незнакомый тип достал какую-то бумагу, Швабо внимательно ее разглядел и вытащил свой бумажник, похожий скорее на разверпу-

тую гармонию, потом они распрощались, долго треся друг другу руки, и мой Швабо направился к себе в гостиницу.

Вскоре он мне докладывал:

— Все обошлось гладко, мой набитый бумажник произвел, видимо, впечатление. Однако, когда я заявил ему, что запасся вексельными бланками в Москве, он почему-то, не сдержав досады, укоризненно мне заявил: «Для чего вы, право, это делали? Я же писал вам, что их можно здесь раздобыть, в Смоленске!» Он назначил мне завтра свидание в час дня на той же скамейке и обещал при этом познакомить с матерью младенца, для которой, разумеется, весьма интересно познакомиться с будущим, так сказать, опекуном ее сына. Сохранное свидетельство, показанное им мне, на вид не возбуждает никаких подозрений: обычный банковский лист из толстой пергаментной бумаги, наличие печатей, подписей директоров и кассира, словом, — все, как следует. Завтра предполагается познакомить меня с матерью, после чего решено отправиться тут же, в саду, в ресторан позавтракать в отдельном кабинете, где будет мне предоставлена еще раз возможность детально осмотреть сохранное свидетельство. Затем решено ехать в Отделение Государственного Банка, где я, убедившись в наличии вклада, указанного в документе, обязан буду заполнить мои вексельные бланки и тут же обменять их, в присутствии привезенного нотариуса и свидетелей, на их сохранное свидетельство. Вместе с векселями я подпишу и передам договор, написанный в ресторане, об ежегодной выплате десяти тысяч рублей матери ребенка.

— В чем тут штука, Швабо, как вы думаете?

— Ума не приложу, господин начальник! Одно время мне думалось, что собака зарыта в том, что жертва, являясь в сад, должна иметь минимум восемь тысяч рублей в кармане, то есть сумму, необходимую для покупки вексельной бумаги на один миллион. Но для чего же в таком случае назначать столь многолюдное место, — это во-первых, во-вторых, я сообщил им, что вексельные бланки уже заготовлены и куплены мной в Москве, следовательно, я могу и не иметь крупных при себе денег? С другой стороны, мошенник видел мой туго набитый деньгами бумажник, а потому, быть

может, и продолжает игру? Словом,— у меня полный хаос в голове и, право, порой мне начинает даже казаться, что вся эта история вовсе не выдумка, а на самом деле и есть такая, какой ее расписывают эти люди.

— Полноте, Швабо, у вас ум за разум зашел! Вот подождите до завтра и, надо думать, в кабинете ресторана все разъяснится.

На завтра мы выработали следующий план действия: лишь только в кабинете дело дойдет до переписывания чернилами набросанного карандашом договора о ежегодной пенсии матери, я с двумя моими агентами ворвусь туда и арестую мужчину и женщину. Сигналом для меня послужит отправка лакея за чернилами.

На следующий день Швабо с одной стороны, а я и мои два агента — с другой, входили ровно в час в Лопатинский сад. Швабо уселся на свою скамейку, а я принялся наблюдать издали. Вскоре появился вчерашний тип под руку с изумительно красивой женщиной — еврейкой. Он дружески приветствовал Швабо, и последний, подскочив с места, галантно приложился к ручке, довольно величественно ему протянутой еврейкой. Посидев некоторое время на скамейке, они встали и направились в летний ресторан. Войдя на веранду, они повернули в коридор и исчезли в кабинете. Я с моими людьми занял столик на веранде. Наша позиция была удобна, так как все кабинеты выходили дверями в коридор и все проносимое в них несло непременно мимо нас. Ждать пришлось долго — часа два. Наконец, появляется лакей, просит за стойкой чернильницу и перо и исчезает в кабинет с ними. Я мигнул своим людям и мы бросились по пятам лакея. Едва успели мы ворваться в кабинет, как собеседник Швабо в мгновение ока очутился на открытом окне и едва мой агент успел схватить его за ноги. Еврейка же поспешно сунула себе в рот скомканный документ и судорожно принялась жевать. Мы не дали докопчить ей «вкусного завтрака» и извлекли из рта бумагу. Она оказалась все тем же сохранным свидетельством.

С арестованными мы отправились в местное сыскное отделение, у входа в которое разыгралась неожиданная сцена: какой-то господин, выходя из него и

увидев нашего арестованного, завопил благим матом: «Вот он, вчерашний пегодай и мошенник, меня ограбивший!.. Ах, он подлец! Ведите его, ведите, господа, скорее к начальнику!»

Оказалось, что вопивший господин еще вчера стал жертвой нашего мошенника. Соблазняясь мнимым миллионом того же монаха, он пожаловал в Смоленск из Киева, накупил по указанию все того же жулика в местном казначействе вексельной бумаги на соответствующую сумму и, не желая ходить по ресторанам, пригласил обоих аферистов в гостиницу к себе в номер. Во время завтрака ему был подсыпан в вино какой-то порошок, после чего он крепко заснул, а, проснувшись, обнаружил пропажу вексельных бланков и 1800 рублей. Тайна, наконец, разъяснилась: в заговоре с мошенниками был и один из кассиров местного губернского казначейства, к которому аферисты и направляли обычно своих доверчивых жертв для покупки вексельной бумаги. По совершении преступления незаполненные вексельные бланки принимались казначеем обратно со скидкой десять процентов от их стоимости. Эта скидка и была его заработком в деле.

В тех случаях, когда жертвы привозили с собой чистые бланки, то либо они принимались тем же кассиром, либо сплавлялись мошенниками в Варшаву тоже с некоторой скидкой.

Таким образом, при каждом ударе для жуликов было обеспечено минимум 8000 рублей, по, обычно, эта цифра была выше, так как помимо вексельной бумаги люди на всякий непредвиденный случай запасались и деньгами.

По их собственному признанию, случай со Швабо был уже седьмым в их практике. Переписав договор чернилами, они предполагали распить за добрый почин бутылку шампанского со Швабо, которому и намеревались подсыпать в стакан дурманного порошка.

Так раскрылась эта хитроумная мошенническая затея, а с нею проявилась и легкомысленная доверчивость шести русских степенных людей, околпаченных рассказами о легендарном миллионе отца архимандрита.

300 000 РУБЛЕЙ ПО ПОДЛОЖНОЙ АССИГНОВКЕ

В московское губернское казначейство явился какой-то человек, предъявивший ассигновку, подписанную одним из московских мировых судей, и получил 300 тысяч рублей, состоявших в депозите этого судьи.

Недели через две потребовалась справка о состоянии депозита, причем выяснилось, что указанные 300 тысяч рублей уже более не числятся в нем и выданы по выписной ассигновке. Кинулись справляться и оказалось, что распорядитель депозита никогда и не думал подписывать такой ассигновки. В результате губернское казначейство известило нас о происшедшем подлоге и я принялся за дело.

Тщательный осмотр ассигновки привел к выводу, что три последних цифры шестизначного номера, на ней обозначенного, аккуратно и весьма искусно подчищены.

Следует заметить, что бланки ассигновки на текущие служебные надобности раздавались всегда по сериям штук по сто и более на каждое учреждение. Таким образом, по пропечатанному номеру можно было всегда установить точно и то должностное лицо, из канцелярии которого была выпущена та или иная ассигновка. Номер, значащийся на подложной ассигновке, привел нас к одному из мировых судей Москвы, но у последнего, как и следовало ожидать, все оказалось в порядке и ассигновка под вышеназванным номером еще даже не была использована.

Являлась поэтому необходимость, во что бы то ни стало установить, какие же именно цифры были подчищены и заменены новыми, на подложном документе? Эта задача представлялась нелегкой, однако, талантливый фотограф сыскной полиции фон Менгден

рьяно принялся за работу и, пробившись с неделю, достиг такой цели. Способом наложения одного снимка на другой и фотографированием затем такой сложной комбинации ранее полученных изображений он добивался того, что неуловимые простым глазом оставшиеся очертания подчищенных цифр выступали все ярче и определеннее и после бесконечного числа таких манипуляций и увеличений стали, наконец, доступными и невооруженному зрению. Таким образом, нам удалось установить первоначальный и истинный номер ассигновки. Этот номер относился к серии бланков одного из Замоскворецких мировых судей, — некоего Р., брата небезызвестного члена Государственной Думы, а затем чуть ли не министра по делам Финляндии, времен Керенского. Я отправился к нему.

Он принял меня согласно велений кодекса либеральной морали. На своем, вообще мало выразительном, лице, он попытался выразить и обиду, и презрение, и отвращение. Мои доводы о необходимости осмотра его делопроизводства ввиду обнаружившегося подлога, невольным участником которого он мог явиться, не убедили этого умного человека и он с пафосом заявил, что не позволит полиции (понимай: «этому презренному институту») рыться в его делах и бумагах. Мне стало противно не только настаивать, но и разговаривать с этой самовлюбленной либеральной тупицей и я обратился к прокурору судебной палаты Хрулеву. Последний, приложив к судье весьма не лестный эпитет, не говорящий об его уме, принес мне от имени судебного ведомства извинения и, прикомандировав ко мне судебного следователя, уполномочил нас обследовать делопроизводство господина Р.

Прежде чем ехать вторично к судье, я запросил губернское казначейство, из которого мне ответили, что по ассигновке (мы дали подлинный, установленный нашим фотографом, номер), нами указанной, никаких сумм не отпускалось.

Я тотчас же велел собрать сведения о канцелярских служащих господина Р. Оказалось, что всеми делами его канцелярии ведает некий писарь Андрей Бойцов, с которым случайно был знаком мой агент Леонтьев, специализирующийся по наблюдению за питателями служащих, как правительственных, так и частных учрежде-

дений. По заявлению Леонтьева, Бойцов — большая дрянь, взяточник, выколачивающий всякими способами доходы из своей службы: то подговаривая свидетелей, то подавая советы обвиняемым, то задерживая незаконно исполнение тех или иных бумаг.

Я пожелал использовать это счастливое знакомство и приказал Леонтьеву повидаться где-либо с Бойцовым, не подозревавшим, конечно, о службе Леонтьева в сыскной полиции.

— Попробуйте, Леонтьев, — сказал я, — за стаканом вина что-либо выведать. Быть может, Бойцов и проговорится.

На следующий же день Леонтьев встретился «случайно» с Бойцовым в трактире и разговорился. Рассказал ему, что это время бедствовал без места, но теперь устроился писмоводителем к земскому начальнику. Бойцов был оживлен, много говорил, но ни единым звуком не проговорился о «деле». Три дня я продержал слежку за Бойцовым, но и она ровно ничего не дала. Очевидно, Бойцов, встревоженный моим появлением у его патрона, был сугубо осторожен и кроме своей квартиры, службы, да трактира никуда не ходил.

Я наметил себе линию ближайшего поведения. Я был уверен, что, являсь вторично к Р., я в канцелярских книгах обнаружу какую-либо путаницу с денежными ассигновками, так как ведь из его же серии был взят бланк для поддельного документа.

Бойцов от всего, конечно, отопрется и что же будет дальше?

Тут меня осенила мысль: необходимо будет опять использовать знакомство, вернее, встречу Бойцова с Леонтьевым.

Я приказал агентам, следящим за Бойцовым, не прибегать к осторожности, но умышленно дать последнему заметить их слежку за собой, что в точности и было ими исполнено.

Начищенные этими сведениями, я с судебным исполнителем явился к Р. Он принял нас так же сухо, но противиться осмотру делопроизводства на сей раз не мог. Осмотрев в канцелярии книгу ассигновок, я нашел в ней, в числе корешков уже использованных бланков, и носящий нужный нам номер, то есть первоначальный, восстановленный фотографически в подложной ассиг-

повке. Однако, на этом корешке значились совершенно другое имя, дело и сумма не в 300, а в 10 тысяч рублей. Стало очевидным, что корешок в книге был для видимости заполнен выдуманным текстом, а ассигновка и ее талон пошли на мошенническую подделку с целью получения 300 тысяч.

Сообщив господину Р. о результатах осмотра его книг, мы ввергли его в великое смущение и недоумение. Куда девался его arrogantный тон! Он вдруг сделался до приторности любезным, сбегал лично за стулом и принялся слащаво упрасивать меня сесть. Очевидно, «либеральные принципы» уступили место сообщением шкурного характера.

— Я должен буду арестовать вашего Бойцова, — сказал я ему.

— Что вы, что вы, господин Кошко?! Неужели же вы подозреваете этого честного и развитого малого? Он уж больше года у меня служит и я не могу нахвалиться им!

— Вы можете хвалиться им, сколько вам угодно, но я имею точные сведения, что ваш «честный» Бойцов — чистейший мошенник, обдывающий свои делишки, часто прикрываясь вашим именем. Да, наконец, и на корешке вашей книги почерк именно Бойцова.

— Что же, вам виднее, господин Кошко. Делайте как хотите! Пожалуйста, не стесняйтесь! — сказал Р. с обворожительной улыбкой.

Вернувшись снова в его канцелярию, я обратился к Бойцову. Этот тип был лет тридцати пяти, с крайне наглым лицом и тем характерным выражением на нем, что присуще часто русским недоучкам, превратившим свою голову в свалочное место полупрочитанных и на половину понятых брошюр, памфлетов и прокламаций.

— Одевайтесь, Бойцов. Вы арестованы! — сказал я ему.

— Это же по какому праву? — запальчиво ответил он.

— Да без всякого права, а просто арестованы, да и только!

— Нет, вы извольте сказать, на основании какой такой статьи Уголовного Уложения тысяча девятьсот третьего года?

— Вы Уголовное Уложение бросьте! Я — начальник сысской полиции — подозреваю вас в крупном мошенничестве, а потому нахожу нужным арестовать вас. Поняли?

— Это чистый произвол, бюрократические замашки, вопиющее насилие.

Я велел позвать двух городских и Бойцов был препровожден в сысскую полицию. Здесь он продолжал держать себя так же вызывающе и дерзко: отрицая всякую вину, возмущаясь незаконным, якобы, арестом и требуя немедленно лист бумаги для подачи жалобы прокурору.

— Вам какой лист — большой или маленький? — спросил я иронично.

— Все равно! — ответил он сухо.

— Прокурору вы пишете, — это ваше право. Но, быть может, вы вспомните, куда ушла ассигновка, вашим почерком выписанная на корешке, в сумме десять тысяч рублей? Представьте, какая странность — в губернском казначействе такого номера ассигновки не предъявляли.

Но эта улика не смутила нахала.

— Разве я могу помнить все ассигновки? Да, наконец, если и вышла путаница, ошибка, — нельзя же за это сажать людей под замок!

Продержав безрезультатно Бойцова сутки, я снова призвал к себе того же Леонтьева.

— Придется, видимо, Леонтьев, вам сесть на пару дней.

— Что ж, господин начальник, дело известное, — не впервой!

— Да, но на этот раз вам придется вести себя крайне тонко. Бойцов — стреляная птица, малейшая шероховатость — и дело испорчено.

— Постараюсь, господин начальник!

— Вот что. Я думаю, вам лучше всего накинуться на него с руганью и упреками, обвиняя его в вашем аресте. Сошлитесь на недавнюю встречу в трактире и на слежку, что была, очевидно, установлена за ним и встречаемыми им приятелями. Поняли?

— Так точно, понял!

Леонтьев разыграл свою роль превосходно. Из слов подслушивающих агентов и из его позднейшего доклада, картина представлялась такой. Леонтьев, посажен-

ный в камеру, завидя в ней Бойцова, с места в карьер на него набросился и принялся ругательски ругаться:

— Сволочь ты этакая! Будь тебе неладно! И тоже из-за всякой скотины страдай! только что наладилось с местом, так — на тебе, теперь из-за этого г... лишаться всего! Отвечал бы сам за свои паскудства, а то честных людей втрапливаешь, анафема этакая!

Огорошенный Бойцов принялся не то оправдываться, не то успокаивать расходившегося коллегу по несчастью:

— Да ты что орешь зря? Я-то тут при чем?

— При чем?! — злобно передразнил Леонтьев. — А при том, что раз за собой знаешь грех, так не подходи на улице к людям! Чай не маленький, — знаешь, что шпики следят за тобой, чертова твоя голова!

— Вот чудак-человек! И греха за мной нет, да и о слежке ничего не знаю!

— Да, теперь рассказывай! Пой Лазаря! Поди хапнул хорошенько, а то и убил кого! Не зна-а-а-л!...

Поругавшись еще с добрый час, утомленный Леонтьев заснул.

Прошло дня два. На третий Леонтьев, отпросясь «до ветру», явился ко мне в кабинет.

— Ну, как дела? — спросил я его.

— Трудно пришлось, господин начальник! Два дня крепился, подлец, да, наконец, уверовал в меня. И вот только часа три назад просил о следующем: «Тебя, говорит, наверное, скоро освободят, так не откажи, пожалуйста, сходить к моей тетке. Старуха живет в кухарках у помощника ректора университета. Скажи ей, что, если ее потребуют в полицию, так, чтобы она не говорила о том, что я ей племянник и навещал ее недавно. А за твою услугу я дам тебе адрес моего хорошего приятеля и записку к нему, по которой он выдаст тебе двадцать пять рублей. А ежели хорошо исполнишь поручение, то и еще двадцать пять. Я не раз выручал его из беды, и он мне теперь не откажет в этих деньгах.

— Ладно, — сказал я, — пятьдесят рублей деньги не малые, а только как же я пронесу твою записку, ведь, при выходе, обыскивают?

— Ну, это пустяки! Записочка небольшая, засунь ее куда-нибудь, хоть под мышку, а то и в рот.

— Прекрасно, Леонтьев! Отправляйтесь к старухе немедленно.

Леонтьев отправился и исполнил поручение, добавив еще от себя, чтобы последняя не говорила об оставленной ей племянником при последнем посещении вещи.

На следующий день я вызвал к себе старуху. Она явилась, ведя за руку пятилетнюю внучку. Это была древняя старуха, на вид лет восьмидесяти, но еще довольно бодрая. Не успев выслушать вопроса, она, как учуный попугай, затараторила:

— Никакого Андрея Бойцова я не знаю, никакой Андрей ко мне не приходил, никаких вещей не оставлял.

В это время девочка прошептала:

— А, как же, бабушка, ты говоришь, что дядя Андрей не заходил, а он, ведь недавно был?

Я схватил девочку на руки и унес в соседнюю комнату, дал ей карамелей и спросил:

— Когда же был дядя Андрей?

Девочка, испугавшись, долго молчала, но потом, успокоившись, рассказала, что дядя Андрей недавно был и оставил бабушке узел.

— Куда же бабушка девала узел?

— Не знаю,— отвечала она. Большого от нее добиться не удалось.

Я вернулся с нею в кабинет.

— Да вы, барин, не слушайте ее, ведь она дите, ангел, можно сказать, Божий,— пропела сладко старуха и тут же, пригрозив кулаком девочке, злобно промолвила:

— Ишь, постреленок паршивый! Ужо я тебя!..

— И не стыдно вам, право! Вы одной ногой уже в могиле стоите, а на душу грех такой принимаете! Ведь племянник-то ваш человека зарезал, а ограбленные деньги снес к вам спрятать! Вот и девочка говорит, что узел-то у вас.

— Что вы, что вы, барин?!. Господь с вами!.. Да стала бы я потрафлять убивцу?!. А дите глупое, мало ли чего не наговорит! Нет, я, как перед Истинным, не виновата, не-е-е не виновата!..

Боясь злобы старухи, я самолично отвез ребенка к помощнику ректора, сдал его ему на руки, рассказал все дело и просил оберегать девочку и, по возможности, повлиять на старуху, убеждая ее выдать спрятанные вещи.

Обыск, произведенный у старухи, ничего не дал, что, впрочем, не удивило меня, так как вещи могли быть ею зарыты на чердаке университета, тянувшемся над зданием чуть ли не на несколько сотен саженей. Дело застопорилось и не виделось кончика, за который можно было бы ухватиться. Обыск у приятеля Бойцова, давшего по записке Леонтьеву двадцать пять рублей, был тоже бесплоден.

За неимением лучшего, пришлось прибегнуть к весьма сомнительному способу.

Призвав Леонтьева, я сказал ему, что придется опять «сесть» под предлогом нового ареста, произведенного над ним засадой у бабушки, якобы, в момент исполнения им поручения Бойцова.

— Теперь, Леонтьев, ваша роль еще труднее. Смотрите, — не провалитесь!

Через четверть часа Леонтьев уже орал на все камеры:

— Будь ты проклят, с твоими окаянными деньгами! И я-то, дурак, послушался и направился к этой чертовой ведьме, чтоб ей пусто было! Ну, теперь шабаш, ввязался в чужое дело! И с чего, спрашивается, меня понесло? Пятьдесят целковых соблазнили? А накося, выкуси теперь: и место потерял, и честь замарал, а что еще будет — одному Богу известно! Да, уйди ты от меня, окаанный! — крикнул он что есть мочи на приближающегося к нему с утешением Бойцова.

Последний, опять поймавшись на удочку, заговорил полупшепотом:

— Нечего сокрушаться! Место потерял? Эка важность! Да, если мы с тобой отсюда выберемся, так будь покоен — на обоих хватит; ты только помогай мне до конца, а в начете не будешь!

— Мели Емеля, — твоя неделя! Не будешь с тобой в начете! Второй раз из-за тебя вляпываюсь: то в трактире шпики проследили, то на засаду у старухи нарвался! Нет, под несчастной планидой я родился!

Бойцов долго еще утешал Леонтьева. Вскоре я вызвал последнего, якобы, на допрос.

После допроса Леонтьев вернулся в камеру значительно успокоенным.

— Ну, слава Те, Христос, кажись, втер им очки здоровые! Сказал, что к тетке твоей попал по ошибке,

а направлялся в квартиру казначея, куда, действительно, поступила в горничные одна моя знакомая девушка. Кажись, поверили. Обещались проверить и, если окажется правда, то сказали, — беспрепятственно выпустят. Пускай их проверяют: барышня моя, действительно, поступивши, я и фамилию ейную им назвал.

Когда, дня через три, я освобождал опять Леонтьева, то Бойцов пристал к нему:

— Сходи, да сходи на Чернышевский переулок. Там, в доме номер десять, живет швейцаром мой дядя. Скажи ему, что, мол, Андрей арестован и просит хорошенько припрятать оставленное мной пальто. А то сидеть неизвестно еще сколько, кабы моль не съела.

Леонтьев на это сердито послал его к черту.

— Тебе что, еще мало моих мук? Нет, брат, ты сиди, а с меня будет! Довольно я находился по твоим сродничкам, не желаю больше!

Я с агентами лично направился на Чернышевский переулок в указанный дом и спросил молодцеватого швейцара:

— Где Андрей Бойцов?

— Не могу знать, ваше высокородие, — отвечал швейцар, приподнимая фуражку.

— Где пальто, что он тебе оставил?

— Пальто он, действительно, оставил, оно тут, я еще сегодня на ночь подкладывал его под голову.

— Подавай его скорее!

— Извольте. Вот оно-с!

Подпоров подкладку, мы обнаружили слой пятисот-рублевых бумажек. По подсчету их оказалось на двести пятьдесят тысяч рублей. Швейцар, как увидел, даже побледнел от неожиданности.

— Эвона, какая музыка! — сказал он протяжно, почесывая затылок.

Едва успели мы вернуться в полицию, как неожиданно докладывают о приходе кухарки-старухи.

— Ваше высокородие, господин начальник, уж вы простите меня, дуру. Мой барин так разжалобил своими речами, что я пришла покаяться. Не желаю перед смертью брать греха на душу! Я принесла вам Андриюшкин узелок, извольте получить!..

В узле, к великому удивлению, оказалось не пятьдесят, а пятьдесят восемь тысяч. Впоследствии выясни-

лось, что в казначействе просчитались и выдали триста восемь тысяч вместо трехсот.

Пригласив к себе в кабинет мирового судью Р., прокурора окружного суда Брюна де Сэнт-Ипполит, я разложил пятьдесят восемь тысяч на письменном столе, прикрыв их развернутой газетой, и, усевшись за стол, положил в ноги пальто с «начинкой». После сего я вызвал Бойцова.

Он появился, как всегда, с крайне развязным видом и тотчас же осведомился о звании присутствующего, ему незнакомого, Брюна.

— Это прокурор суда,— ответил я ему.

— Господин прокурор, я прошу вашего вмешательства! Вот уже неделя, как я ни за что арестован и содержусь под замком. Это не порядок, таких законов нет! Уголовное Уложение говорит...

— А это видел?— и я снял газету с денег.

Он не смутился:

— Тоже, подумаешь! Разложили казенные деньги и думаете поймать!

— А это видел?— и я поднял высоко пальто.

Бойцов побагровел и произнес:

— Ну, это другое дело! Это настоящее, юридическое, вещественное доказательство!— и, опустив голову, он угрюмо замолчал.

По Высочайшему повелению было отпущено десять тысяч рублей в награду чинам сыскной полиции, порабатывшим над этим, довольно незаурядным делом.

РУССКАЯ ЗАБЛУДШАЯ ДУША (Васька Белоус)

Не без волнения приступаю я к описанию преступных походов Васьки Белоуса, закончившего свою бурную одиссею виселицей.

Тысячи преступников различнейших оттенков прошли передо мной за многолетнюю мою служебную практику, но эта мятежная жизнь, эта заблудшая душа стоит особняком в мрачной галерее моих горе-героев. Все в этом человеке было незаурядно: начиная от своеобразной, какой-то, если можно только так выразиться, преступной этики, до редко мужественного восприятия смерти.

Но не буду забегать вперед и расскажу все, как было.

В 1911 году, в подмосковном районе вспыхнула эпидемия вооруженных грабежей. Характерной стороной их была своего рода гуманность, проявляемая грабителями. Жертвы хотя и обирались дочиستا, иногда связывались, иногда запирались в чуланах, уборных и прочих укромных местах ограбленных помещений, но никогда не убивались и даже не ранились. словно орудовавшие грабители питали отвращение к пролитию человеческой крови. Таких краж и своеобразных грабежей последовало несколько десятков, но розыски уездной полиции не приводили ни к чему.

Московская сыскная полиция охраняла лишь горескую территорию, но ввиду неуспеха уездной полиции московский губернатор, генерал Джунковский, обратился и ко мне, прося помочь ему нашими силами.

Наши старания вначале были не более удачны: грабители успешно скрывались и никакие облавы не приводили к поимке как самой шайки, так и ее атамана. Впрочем, пружиной всего дела являлся сам атаман, не обладавший, видимо, определенным числом сообщ-

ников. Вывожу я это из разнообразного числа участников в каждом отдельном случае.

При задержании как-то одного, замешкавшегося, грабителя, да и по общему говору, ходящему по окрестным деревням, удалось выяснить, что главарем банды является некий Василий Белоусов, по прозванию — Васька Белоус.

Отзывы о нем были оригинальны: бедняков он не трогал (впрочем, с них и взять нечего), направляя свои усилия лишь на зажиточных людей. Свершив удачно грабеж, он принимался за кутежи и щедрой, не знавшей меры и удержу рукой расшвыривал награбленные деньги тут же, по деревням, угощая и спавая всех и каждого, осыпая подарками как своих односельчан, так и соседей-земляков, — словом, каждого, кто подвертывался под его щедрую руку. Этим, конечно, и объяснялась долгая неуловимость Васьки: крестьяне его охотно покрывали и давали приют этому носителю приятной и доходной для них статьи.

Биография Белоуса была такова: подкидыш без роду и племени, он был подобран и выращен какой-то сердобольной старухой. С детства отличался кротким нравом и трудолюбием. Был сначала пастухом в деревне, затем отменным работником. Наконец, отбыв солдатчину, вернулся обратно на родину и нанялся в услужение к одному из местных богатеев. К этому времени относится его знакомство с Василием Рябым, односельчанином, местным кузнецом, величайшей и всеми ненавидимой дрянью и пьяницей. Надо думать, что влияние этого кузнеца оказалось для Белоуса роковым. Не прошло и полгода, как кузнец уговорил Василия ограбить хозяина, причем кузнец в момент грабежа настаивал на убийстве последнего и лишь настоянием Белоусова хозяин избежал смерти. Запуганный хозяин, хотя и молчал, но дело раскрылось и кузнец был приговорен к четырем, а Белоус — к полутора годам арестантских рот. Время, проведенное Белоусом в заключении, не прошло для него праздно: зачатки грамотности, полученные им в солдатчине, он развил, научившись бойко читать и каллиграфно писать, причем случайным, по-видимому, подбором книг, развил в себе, как это будет видно из дальнейшего изложения, своего рода романтичность, впрочем, очевидно, присущую ему

от рождения. Эта односторонне развитая фантазия, да тлетворное влияние тюрьмы, всегда сказывающееся на сколько-нибудь впечатлительных натурах, кинули окончательно Белоуса на путь преступных авантур и, отбыв положенный срок заключения, Васька пустился во все тяжкие, что и вызвало мое вмешательство.

Бескровные грабежи следовали один за другим; кое-кто попадался на месте, иные при сбыте похищенного; но Васька Белоус был неуловим. Несколько раз при облавах в него стреляли, но всегда безуспешно и Васька, пользуясь покровительством крестьян, бесследно скрывался. Его поимка осложнялась еще тем, что лишь один надзиратель из всех моих служащих — Муратов — знал Ваську в лицо, будучи с ним родом из одной деревни.

После ряда удачных грабежей, Васька принялся бомбардировать меня письмами. Трудно сказать, какими соображениями он руководствовался при этом: не то игра с огнем была ему люба, не то желание раззадорить людей, его преследующих, а, может быть, — и слепая вера в свои силы, ловкость и счастье.

Так он писал:

«Там-то и там-то дело сделано мной, Васькой Белоусом, знаменитым атаманом неуловимой шайки, родившейся под счастливой звездой Стеньки Разина. Крови человеческой не проливаю, а гулять — гуляю. Не ловите меня, — я не уловим. Ни огонь, ни пуля не берут меня: я заговоренный».

Однако вскоре характер Васькиных грабежей изменился. Так на Владимирском шоссе был убит пристав Белянчиков. На следующий день я получил письмо:

«Его Благородие, господина пристава Белянчикова, убил я — Васька Белоус. Уж очень стали они притеснять нас, да и на Пашку глаза пускать. Грабить их — не грабил, взял лишь леворвер, так как зачем он им теперече? Нам же пригодится».

Через несколько дней, близ станции Люберцы, была убита и ограблена вдова капитана первого ранга.

Мне Васька писал:

«Генеральшу в Люберцах ограбил я, — Васька Белоус. Убил же я ее за оскорбление».

Еще через несколько дней была ограблена крестьянская семья, причем четырнадцатилетняя дочь хозяина

была изнасилована одним из грабителей. В этот же день нашли мертвое тело поблизости деревни, где произошел грабеж.

В Васькином письме следовало:

«В такой-то деревне ограбил я, а Петьку Шачова пристрелил сам: не насильничай!..»

Так как грабежи стали сопровождаться и убийствами, то я напряг все силы сыскной полиции; но Васька Белоус все не давался в руки.

Он попался совершенно случайно и при крайне трагических обстоятельствах.

Как-то ранним утром мой надзиратель Муратов (как я говорил, единственный из моих агентов, знавший Ваську в лицо) отправился вместе с женой на рынок за покупками. Как вдруг заметил он в толпе Ваську. Зная, с каким лихорадочным рвением разыскивается этот опаснейший преступник, Муратов, не долго думая, подскочил к нему и, будучи безоружным и притом весьма щедедушным человеком, тем не менее впился в руку этого колосса и принялся звать о помощи. Васька одним движением могучего плеча стряхнул с себя несчастного Муратова и, выхватив браунинг, дважды выстрелил в него в упор. Смертельно раненный Муратов упал, обливаясь кровью. К нему подбежали, но этот герой служебного долга, не потеряв сознания, с волнением простонал:

— Оставьте меня!.. Мое дело кончено!.. Ловите, ловите скорей Ваську Белоуса!..

Между тем Васька помчался через рынок, подбежал к какому-то забору и стал через него перелезать. Тут же вертящийся мальчик, заразившись общим настроением преследовавшей Ваську толпы, впился зубами в ногу перелезающего через забор Васьки и мертвой хваткой повис на ней. Подбежавшие городовые схватили разбойника, обезоружили его, после чего он был препровожден в ближайший, Мясницкий, полицейский участок.

Извещенный тотчас же по телефону, я поехал туда, куда уже было перевезено и мертвое тело самоотверженного Муратова. Я, молча, поглядел на Ваську и собирался уходить, как вдруг он обратился ко мне:

— Господин начальник, прикажите перевести меня в сыскную. Мне поговорить с вами надобно.

Я повернулся и, ничего не ответив, вышел, приказав, однако, перевести Ваську.

Бедный Муратов оказался убитым двумя пулями в грудь. Грустно мне было на третий день следовать за гробом мужественного сослуживца, а еще грустнее — видеть слезы его вдовы и осиротелых детей. Не без годованья собирался я приступить к допросу убийцы Муратова, но при появлении его в моем кабинете и при первых словах, им произнесенных, чувство гнева стало во мне утихать, уступая место сначала некоторому любопытству, а затем, пожалуй, и чувству (да простит мне покойный Муратов!) некоторой симпатии.

Обычно, принято думать, что злодей, имеющий на душе ряд убийств, должен внешностью своей, непременно, отражать это Божеское проклятие, эту каннову печать. На самом деле ничуть не бывало: среди закоренелых преступников явно дегенеративные типы встречаются, пожалуй, не чаще типов обычных и нередко в числе злодеев попадаются даже и люди приветливой внешности, с кроткой, симпатичной улыбкой и очень часто с невинно-детским выражением чуть ли не ангельских глаз.

Васька Белоус был из числа последних. Красавец собой, богатырского роста и телосложения, чрезвычайно опрятный и, если хотите, по-своему элегантный, он положительно чаровал своей внешностью. Гордо посаженная, белокурая голова с приятным лицом, серыми, большими глазами, орлиным носом и густыми, пушистыми усами, — такова была его внешность. Вошел он ко мне в кабинет в поддевке, ловко накинутаой на богатырское плечо, в высоких, смазных сапогах, в стальных наручниках, — словом, ни дать ни взять, пойманный молодец-удалец из старой русской былины.

Это впечатление было настолько сильно, что я неожиданно для самого себя, впал в какой-то чуть ли не эпический тон.

— Ну, Васька, погулял и будет! Пора и ответ держать! Не криви душой, рассказывай все по совести, не скрывай думушки заветной!

— Это точно, господин начальник! Ничего не скрою, все расскажу. Умел молодец гулять, — умей и ответ держать.

— Что же ты, Васька, письма разные писал? Крови, мол, человеческой не проливаю, а на деле сколько головешек сокрушил?

— Нет, господин начальник, писал я правду: капли крови зря не пролил, да и проливать своим товарищам не позволял.

— А, как же пристав, вдова в Люберцах, Шагов?

— Это не зря: господина пристава я застрелил за то, что он к Пашке лез силой со срамными предложениями. А Пашку мою я люблю больше жизни. С генеральшей в Люберцах, право, грех вышел: не хотел я убивать ее, да не стерпел.

— Чего же ты не стерпел?

— Да, как же, господин начальник? Забрались мы ночью к ней в квартиру. Я в спальню, она спит. Только что успел забрать часы, да кольцо со столика у кровати, как вдруг в полупотемках задел графин с водой; он бух на пол! Генеральша проснулась, вскочила, разобиделась, да как кинется, да мне в морду, раз — другой... Ну, я не стерпел обиды и убил за оскорбление. Убивать-то не хотел, а выстрелил больше для испугу, да вот на грех угодил в убойное место.

— А Шагова?

— Этому молодцу туда и дорога! Не насильничай и не похваляйся этим! Не желаю, чтобы про Ваську Белоуса слава дурная ходила. Он не убийца и не насильник! Людей зря не мучить!

— Ну, ладно, Васька! Будь по-твоему! Но как же ты Муратова, моего бедного Муратова, не пощадил? Ведь, посмотри на себя: в тебе сажень косая в плечах, а Муратов был слабым, хилым человеком, к тому же и безоружным? Ну, ты бы его пихнул хоть, стряхнул бы с себя, зачем же было убивать его?

Васька глубоко вздохнул.

— Да, господин начальник, признаюсь, подло я о ним поступил! Да и сам понять не могу, что за воужа мне под хвост попала? Взглянул я на него и такая злость меня разобрала! Да и испугался я за волю мою — волюшку. И, не долго думая, — взял, да и выпалил. А теперь и вспомнить горько. Позвольте мне, господин начальник, повидать их жену и сироток. Я в номерах у них валяться буду, прощения вымаливать!

— Валяться ты-то будешь! Да что толку в том? Мертвого не воскресишь!

— Это точно! — и Васька еще глубже вздохнул.

Подумав, я сказал:

— Что ж, Васька, плохо твое дело! Нынче в Московской губернии усиленная охрана, пристав Беляничков — лицо должностное, не миновать тебе виселицы!

— Так, что ж, господин начальник? Оно и правильно будет. Таких людей, как я, и следовало вешать по закону. От таких молодцов, как мы, один лишь вред, да неприятность, а пользы никакой.

— А жаль мне тебя, все-таки, Васька! Ты вот и каешься, не запираешься, а хлопочи за тебя — не хлопочи, — пожалуй, не поможет!

— Да вы и не хлопочите, господин начальник: не зачем! Зря! ну, сошлют меня, скажем, на каторгу, — я сбегу оттуда да и примусь за старое. Раз человек дошел до точки, — ему уж не остановиться. Шабаш! Как вы его не ублажайте, а его все на зло тянет. Нет, господин начальник! Премного вами благодарны, а только уж вы не беспокойте себя, не хлопочите, не оскорбляйте своего сердца! Вешать меня следует и кончину свою я приму без ропота! Об одном только я вас очень попрошу. Я расскажу вам все; ничего не утаю, назову всю сволочь, со мной орудовавшую, вешайте, убивайте, уничтожайте ее, так как без меня, без удержу моего, они таких делов натворят, что и небушку станет жарко! Одно лишь скажу вам, господин начальник, как перед Истинным, хотите — верьте, хотите — нет, а Пашка моя во всех злодействах моих не участница! И уж вы, пожалуйста, не сомневайтесь, не задерживайте ее!

В это время вошедший надзиратель доложил мне тихонько, что в сыскную полицию явилась какая-то молоденькая девчонка, назвалась Папикой, просит арестовать ее и посадить с Белоусовым.

— Позовите ее сюда! — сказал я.

Надзиратель вышел.

— А ведь Папка пришла, — сказал я Ваське.

— Я знал, что придет. Она, ведь, меня любит! — не без гордости ответил он.

Дверь раскрылась и в кабинет робко вошла девушка, по типу цыганка. Матовая кожа, коралловые губы, огромные черные глаза. Это был почти еще ребенок.

Она напоминала мне почему-то одну из бронзовых статуэток индийских тапцовщиц. Увидев Белоуса и, забыв все на свете, она кинулась к нему. Клосс протянул было руки, словно желая заключить ее в объятия, да стальные наручники помешали. От досады он скрипнул зубами, безнадежно рванул свои путы и, согнувшись пополам, подставил Пашке лицо. Ее головка потонула в пушистых усах, а руки обвили склоненную к ней шею. Через миг он застыдился своего порыва, выпрямился и, тихонько отстранив Пашку, сказал ей:

— Видишь, Пашка, кого ты любила?— и он протянул ей наручники.

Пашка заплакала и прижалась к нему.

— Ай, Вася, не все ли равно! Я хочу быть с тобой и в тюрьме, и хоть на каторге!

— Нет, Пашенька! Пришел мой копец. Погулял и будет! За мои злодеяния не каторгой меня пожалуют, а петлей да перекладиной!

Пашка зарыдала еще громче.

— А ежели ты любишь меня, как говоришь, то чего тебе по тюрьмам зря вшей кормить, а ступай в Божью обитель, где до конца дней своих и замаливай перед Господом мои тяжкие грехи!

Умилившись и расстроившись, я отпустил Ваську с Пашкой в камеру. Исповедь этого человека, его тон, манера держать себя, наконец, эта трогательная любовь потрясли мои нервы. Что Васька был искренен, далек от всякой позы и аффектации,— я не сомневался. Да, наконец, последующие две недели, что провел Васька при сыскной полиции, подтвердили это: кроток, вежлив, смирен, задумчив, он словно готовился к смерти, торжественно ожидая этой грозной минуты.

Бывало, спросишь его:

— Васька, может, водочки или чего другого хочешь? — а он:

— Покорнейше благодарим, господин начальник! Какая теперь водка! Время не то для меня настало, о душе подумать следует!

Был яркий весенний день, полный жизни, блеска и радости, когда Ваську перевозили в тюрьму и под конвоем выводили от нас на улицу. Я стоял у открытого окна моего кабинета и наблюдал за этим печальным зрелищем: Васька вышел без шапки, на целую голову

возвышаясь над толпой. Шел он степенно, не торопясь, и, подойдя к тюремной карете, повернулся ко всем, сделал поясной поклон и громко промолвил:

— Простите, братцы, меня окаянного! — после чего сел в карету и она тронулась.

Глубокое раздумье и какая-то жалость охватили меня. Несмотря на все его злодеяния, Васька не представлялся мне отвратным. Мне думалось: попади этот человек в иные условия, вырасти он в иной среде, просвети он свой разум оплодотворяющим знанием — и явил бы он миру не преступную, а великую душу. Мне, почему-то, казалось, что именно из такого теста лепит природа больших людей и что в данном случае тесто ею было взято сдобное, добротное, да не хватило не то дрожжей, не то растопок для печки и в результате — тесто, не поднявшись, скисло. Умер Василий изумительно!

Я не присутствовал на его казни, то товарищ прокурора Ч., с дрожью в голосе и со слезами на глазах, рассказывал мне:

— Привезли его на место казни. Василий был совершенно покоен. Исповедался громко и покался от всего сердца. После исповеди обратился ко мне:

«Ваше благородие, разрешите сказать несколько слов солдатикам?»

Хоть и не разрешалось это, однако, я сделал исключение. Василий обратился к конвою и сказал:

«Братцы! Вот политики говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек — не собака и тому подобное. Врут они все! Такой человек, как я — хуже собаки! И ежели не повесить меня, — то много еще крови невинной прольется! Слушайте свое начальство, — оно лучше знает!»

После этого Белоусов опять обратился ко мне:

«Разрешите, ваше благородие, не одевать мешка на голову?»

Я, едва стоя на ногах, смог лишь утвердительно кивнуть головой. Василий подошел к виселице, сам влез на табуретку и, отстранив приближающегося палача, сказал:

«Не погань рук! Я сам все сделаю!»

После чего, расстегнув ворот рубахи, накиннул на шею петлю, заправил ее хорошенько, глубоко вздохнул, поднял глаза к утреннему небу и тихо прошептал:

«Прощай, Паша!..»

Затем сжал плотно веки и, с силой оттолкнув ногой табуретку, повис в петле. Несколько судорог в теле, несколько конвульсий в пальцах и он затих навеки.

Плакал жандармский офицер, плакали конвойные, плакал и я...

Пашка в точности исполнила преподанный ей Василием завет: она удалилась в Новодевичий монастырь, где под тяжелыми сводами святой обители усердно принялась замаливать кровавые грехи ее умершего любовника.

КРАЖА В ХАРЬКОВСКОМ БАНКЕ

Это дело мне особенно врезалось в память, может быть, потому, что им замкнулся круг моего долголетнего служения Царской России. Оно памятно мне и потому, что сумма похищенного из банка была настолько велика, что в истории банковского дела в России подобных прецедентов не имелось.

Итак, 28-го декабря 1916 года, то есть ровно за два месяца до революции, я уже в качестве заведующего розыскным делом в Империи, получил в Департаменте полиции шифрованную телеграмму от заместителя начальника харьковского сыскного отделения, — Лапсина, сообщавшего о краже, произведенной в банке Харьковского Приказчиьего Общества Взаимного Кредита. Похищено было на 2 500 000 рублей процентных бумаг и некоторая, сравнительно незначительная сумма наличных денег. Лапсин сообщал, что воры, устроив подкоп со двора соседнего с банком дома, проникли через него в стальную комнату банка и с помощью невиданных им (Лапсиным) доселе инструментов распилили и распяли стальные нескораемые шкафы, откуда и похитили вышеуказанные ценности. Следов воров ему обнаружить не удалось, но один из служащих банка, заподозренный в соучастии в преступлении, задержан и временно арестован. Эта телеграмма была получена мною утром часов в одиннадцать, а в четыре часа директор Департамента полиции А. Т. Васильев, передавал мне, что министр внутренних дел, только что вернувшийся с Высочайшего доклада, заявил о желании Императора, прочитавшего в утренней газете сообщение о харьковской краже, видеть это преступление открытым в возможно близком будущем. Почему министр находит необходимым поручить ведение этого дела непосредственно мне самому.

Выехать в этот же день мне не удалось, так как харьковский курьерский поезд уже ушел и я отложил отъезд до завтра, то есть до 29-го декабря.

Эта дерзкая кража тревожила меня во всех отношениях: не говоря уже об исключительно крупной сумме похищенного, обратившей на себя внимание Императора, но и обстоятельство дела не давали уверенности в успехе моих розысков. Дело в том, что воры пользовались рождественскими праздниками, то есть двумя днями, в течение которых банк был закрыт, а, следовательно, с момента свершения и до момента обнаружения преступления протекло 48 часов. За этот промежуток времени воры могли основательно замести следы, а то и скрыться за границу.

Общая картина преступления заставляла думать, что в данном случае, орудовали так называемые, «варшавские» воры.

Эта порода воров была не совсем обычна и резко отличалась от наших, великороссийских. Типы «варшавских» воров большей частью таковы: это люди, всегда прекрасно одетые, ведущие широкий образ жизни, признающие лишь первоклассные гостиницы и рестораны. Идя на кражу, они не размениваются на мелочи, то есть объектом своим выбирают всегда лишь значительные ценности. Подготовка намеченного предприятия им стоит больших денег: широко практикуется подкуп, в работу пускаются самые усовершенствованные и весьма дорого стоящие инструменты, которые и бросаются тут же, на месте совершения преступления. Они упорны, настойчивы и терпеливы. Всегда хорошо вооружены. Будучи пойманы — не отрицают своей вины и спокойно рассказывают все, до конца, но не выдают, по возможности, сообщников.

В числе двух миллионов фотографий с дактилоскопическими оттисками и отметками, собранных в Департаменте с преступников и подозрительных лиц, имелась особая серия фотографий «варшавских» воров. Из этой группы карточек я захватил с собой в Харьков, на всякий случай, штук двадцать снимков с особенно ловких и дерзких воров.

Вместе со мной, по моему предложению, выехал способный агент Линдер, молодой человек, польский уроженец, обладавший, между прочим, истинным да-

ром подражания манере говорить по-русски всяких инородцев. Этому второму Мальскому особенно удавались евреи и чухонцы.

Итак, 29-го декабря мы выехали с Линдером в Харьков и, благодаря некоторому опозданию поезда, прибыли туда 31-го вечером. Я немедленно вызвал к себе Лапсина, который в устном рассказе передал дело. Он повторил, в сущности, содержание своей шифрованной телеграммы, добавив лишь подробности, на основании которых был арестован банковский служащий. Оказалось, что подкоп под стальную комнату велся из деревянного сарайчика соседнего с банком двора, принадлежащего квартире, занимаемой банковским служащим. Этот господин пользовался вообще неважной репутацией. В момент совершения кражи его не оказалось в городе, откуда он выехал с женой на два праздничных дня куда-то в окрестности Харькова. Но, несмотря на это алиби, судебный следователь счел нужным его арестовать, так как подкоп, несомненно, прорывался недели две, не меньше, и велся у самой стены, занимаемой им квартиры, так что представлялось невероятным, чтобы стук кирок и лопат не обратил бы на себя внимание чиновника.

На следующий день я пожелал лично осмотреть место преступления. Осмотр подкопа подтвердил сообщения следователя. Стальная же комната банка являла весьма любопытное зрелище: два стальных шкафа со стенками, толщиной чуть ли не в четверть аршина, были изуродованы и словно продырявлены орудийными снарядами. По всей комнате валялись какие-то высокоусовершенствованные орудия взлома. Тут были и электрические пилы, и баллоны с газом, и банки с кислотами, и какие-то хитроумные сверла, и аккумуляторы и батареи, — словом, оставленные воровские приспособления представляли из себя стоимость в несколько тысяч рублей.

Опрошенный мною арестованный чиновник оказался заядлым поляком, все отрицавшим и жестоко возмущавшимся незаконным, по его мнению, арестом.

Так как прорытие подкопа, равно как и подготовка к краже вообще должны были занять не мало времени, то воры, надо думать, прожили известное время в Харькове. Посему, взяв Линдера и местных агентов, я

пришлось объезжать гостиницы, захватив привезенные с собой из Москвы двадцать фотографий «варшавских» воров и карточку арестованного чиновника.

Мне посчастливилось! Из десятка гостиниц, нами посещенных, в одной опознали по моим карточкам неких профессиональных воров Станислава Квятковского и Здислава Горошка, в другой — Яна Сандаевского и еще троих, фамилий коих не помню, всего — шесть человек. Оказалось, они прожили в этих гостиницах с месяц и уехали лишь 26-го числа.

Вместе с тем выяснилось новое обстоятельство. По фотографии, арестованный чиновник был опознан лакеем той гостиницы, где проживали Квятковский и Горошек. Лакей этот, шустрый малый, не только сразу же опознал обоих воров и чиновника, но, со смешком, поведал о тех перипетиях, косвенным участником которых он являлся за время проживания этих господ в его гостинице. По его словам, к Горошку, а особенно к Квятковскому, часто заходил арестованный чиновник и более того: Квятковский был, видимо, в любовной связи с женой, ничего не подозревавшего, чиновника. Эта женщина не раз навещала в гостинице Квятковского и нередко ему, лакею, приходилось относить записочки то от него к ней, то обратно. Из этих тайных записок любопытный лакей и убедился, к своему удовольствию, в их связи.

Этот первый день нового года казался мне не потерянным напрасно и я заснул покойно.

Между тем, дополнительные сведения, собранные об арестованном чиновнике, не говорили в его пользу. До Харькова он служил в Гельсингфорсе, в отделении Леонского Кредита, откуда и был уволен по подозрению в соучастии в готовившемся покушении на кражу в этом банке.

Мои дальнейшие вызовы и допросы арестованного чиновника, ничего не дали. Он все так же продолжал отрицать всякую за собой вину. После долгих размышлений, я решил попробовать следующее.

— Вот что! — сказал я моему Линдеру. — Сегодня же переезжайте в другую гостиницу подальше от меня, а завтра, под флагом дружбы с Квятковским и по причине предстоящего, якобы, отъезда вашего из Харькова, зайдите к жене арестованного чиновника и пере-

дайте ей привет от Квятковского. Для достоверности покажите ей фотографию последнего, будто бы вам данную, с дружеской надписью на обороте. Надпись по-польски сфабрикуйте сами. Образцом почерка Квятковского послужит его факсимиле, имеющееся на полицейской карточке. Было бы крайне желательно при этом получить от указанной дамы какое-либо письмо или записку, адресованную Квятковскому.

Линдер блестяще выполнил поручение. На следующий день он был принят этой особой. О своем визите он мне так рассказывал:

— Я пришел к вам, пани, от Стасика Квятковского, моего сердечного друга. Пан Станислав просит передать свой привет и сердечную тоску по пани.

— Я не розумем, цо пан муви! — смущенно сказала она. — Какой пан Станислав, какой пан Квятковский?

Я спсиходительно улыбнулся.

— Пани очень боится! Но, чтобы вы не тревожились, Стасик просил меня показать пани вот этот портрет. Не угодно ли? — и я протянул ей карточку с надписью.

Взглянув на нее, моя барынька просияла, видимо, успокоилась и стала вдруг любезнее.

— Ах, прошен, прошен, пане ласковы, сядать!

После этого все пошло, как по маслу. Она призналась мне, что сильно соскучилась по Квятковскому и поставила меня в довольно затруднительное положение, пристав с вопросом, где теперь пан Станислав. Я вышел из затруднения, сославшись на легкомыслие женщин.

— Пан Станислав, любя и доверяя вам всецело, тем не менее просил не называть пока его адреса, так как боится, что вы, случайно, можете проговориться. А ведь тогда, все дело, так благополучно проведенное им и вашим супругом, может рухнуть.

— Напрасно пан Стапислав во мне сомневается! Ради него, ради мужа, наконец, ради самой себя, я обязана быть осторожной. Впрочем, пусть будет, как он хочет!

В результате, Линдер был всячески обласкан, накормлен вкусным обедом, а вечером, покидая гостеприимную хозяйку, он бросил небрежно:

— Быть может, пани желает написать что-либо Стасю, так я охотно готов передать ему вашу цедульку.

Пани обрадовалась случаю и тут же написала Квятковскому нежное послание, заключив его фразой:

«...Как жаль, коханы Стасю, что тебя нет со мной сейчас, когда муж мой в тюрьме!»

Поблагодарив Линдера за хорошо исполненное поручение, я на следующий день вызвал арестованного чиновника.

— Ну, что же, вы все продолжаете отрицать ваше участие в деле?

— Разумеется!

— Вы отрицаете и знакомство ваше с Квятковским?

— Никакого Квятковского я не знаю!

— И жена ваша не знает пана Квятковского?

— Разумеется, нет! Кто такой этот Квятковский?

— Любовник вашей жены!

— Ну, знаете ли, этот номер не пройдет! Жена моя святая женщина и в супружескую верность ее я верю, как в то, что я дышу!

— И напрасно! Я могу вам доказать противное.

— Что за вздор! Ведь если бы и допустить недопустимое, то есть, что жена изменяет мне с Квятковским, то как бы вы могли доказать мне это? Ведь, не держали же вы свечку над нею и паном Станиславом?

— А откуда вам известно его имя?

Чиновник сильно смутился, но, оправившись, ответил:

— Да вы как-то, на одном из допросов, так называли Квятковского.

— Я что-то не помню. Во всяком случае, у вас недюжинная память! Но оставим пока это, поговорим серьезно. Я делаю вам определенное предложение: я обещаю вам доказать, как дважды два — четыре, неверность вашей жены, а вы обещайте мне помочь разыскать Квятковского, замаравшего вашу семейную честь. Идет, что ли?

— Нет, — не идет! Так как я, не зная Квятковского, не могу вам помочь и разыскать его. Но заявляю, что не пощажу любовника моей жены, буде таковой оказался бы!

— Ладно! Довольно с меня и такого обещания. Вы, конечно, хорошо знаете почерк своей жены?

— Ну, еще бы!

— Так извольте получить и прочесть письмо ее, написанное вчера на имя Станислава Квятковского! — и я протянул ему переданный мне Линдером запечатанный розовый конверт.

Чиновник схватил конверт, вскрыл его, извлек бумагу и жадно накинулся на нее. Я наблюдал за ним. По мере чтения лицо его все багровело и багровело, руки начали трястись, дыхание становилось прерывистым. Наконец, кончив чтение, он яростно скомкал бумагу, метнул бешеный взгляд и, хлопнув кулаком по столу, воскликнул:

— Пся крѣв! Ну, ладно, пане Станиславе, не скоро пожалуешь ты сюда! А, если и пожалуешь, то не для свидания с моей женой! Ах, ты, мерзавец, подлец ты этакий! Ну, теперь держись! Хотя и сам погибну, но и тебя потоплю! Господин начальник, — обратился он ко мне, — извольте расспрашивать, я теперь все, все скажу, рад вам помочь в поимке этого негодяя Квятковского!

— Хорошо! Где он теперь?

— Должен быть, в Москве, у любовницы Горошка, на Переяславльской улицы.

— При нем и похищенное?

— Да, при нем. Он должен будет обменять процентные бумаги на чистые деньги и заняться дележом их среди участников.

— Так, быть может, он все обменял и поделил?

— Ну, нет! Это не так просто. Квятковский и Горошек крайне осторожны. Для предстоящего обмена должен приехать из Гельсингфорса в Харьков некий «делец» Хамилейнен, мой личный знакомый, который, получив от меня препроводительное письмо, здесь, в Харькове, выедет с ним в Москву, где и сторгует бумаги, примерно, за полцены их номинальной стоимости.

— Можете ли вы сейчас написать мне это письмо за вашей подписью и на имя Квятковского?

— Горю желанием скорее это сделать!

— И прекрасно! Вот вам конверт и бумага.

Через десять минут письмо было готово, подписано и адресовано Квятковскому в Москву, на Переяславльскую улицу.

— Вот вам письмо, действуйте! — и чиновник радостно потер руки. — Ну, пан Станислав, держись! Будет и на моей улице праздник!

Чиновник откровенно признал свое участие в деле, выразившееся в предоставлении сарайчика для подкупа и обещании выписать из Гельсингфорса Хамилейнена. Вместе с тем, он назвал имена и всех участников «предприятия». Их вместе с ним, Квятковским и Горошком, набралось девять человек.

Тотчас же выслав начальнику московской сыскной полиции, Маршалку (меня заменившему) фотографии пяти воров, опознанных в харьковских гостиницах, я просил его приложить старанье к обнаружению пока трех из них, поставив вместе с тем на Переяславльской улице крайне осторожное наблюдение за Квятковским и Горошком.

Призвав к себе Линдера, я рассказал ему о признании чиновника и добавил:

— Отныне, Линдер, вы не Линдер, а Хамилейнен!

— Ридцать копеек, перки-ярви, куакола! — ответил он, скорчив бесстрастную, сонливую чухонскую физиономию.

Я невольно расхохотался.

За откровенное признание и оказанное тем содействие розыску, я приказал ослабить, до пределов возможного, тюремный режим арестованному чиновнику. Ему было разрешено получать пищу из дома, иметь свидания, продолжительные прогулки, собственную постель и т. д. Но, вместе с тем, я пояснил начальнику харьковской тюрьмы все значение преступления арестованного, преступления, которым заинтересовался сам Государь Император. А потому, при всех послаблениях, я приказал установить строжайшую изоляцию для арестованного, внимательнейший контроль над его передачами и т. д. Работа в Харькове мне показалась законченной и я с Линдером выехал в Петроград. Всю дорогу Линдер тренировался в финском акценте и к моменту приезда в столицу достиг положительно совершенства.

По дороге из Харькова я простудился, а потому не мог немедленно выехать в Москву, между тем, дело не ждало. По этой причине я командировал туда временно вместо себя Л. А. Курнатовского. Курнатов-

ский. — бывший начальник варшавского сыскного отделения, — после эвакуации Варшавы был прикомандирован к Департаменту, в мое распоряжение. Я знал его за весьма ловкого и дельного чиновника. Вместе с Курнатовским отправился в Москву и Линдер, чтобы сыграть там роль гельсингфорского Хамилейпена. Одновременно я послал подробные инструкции и Маршалку, поручив ему ежедневно по телефону держать меня в курсе дела.

Через сутки после отъезда Курнатовского и Линдера, Маршалк звонит мне и сообщает, что двое из остальных трех воров, опознанных в харьковских гостиницах, пахотятся в Москве и за ними установлено уже осторожное наблюдение.

Итак, из девяти участников: один сидит в харьковской тюрьме, а четырех, считая Квитковского и Горошка, московская полиция не упускает из виду.

Я предложил Маршалку не форсировать событий до моего приезда, который состоится на днях, так как самочувствие мое уже улучшалось.

Перед отъездом Линдеру было мною приказано остановиться отдельно от Курнатовского и притом непременно в «Боярском Дворе». Эта гостиница имела то преимущество, что в каждом номере находился отдельный телефон. Моему «Хамилейпену» было приказано вести широкий образ жизни, который подобает миллионеру (это, впрочем, его не огорчило), раздавать щедрые чаевые, обедать с шампанским и т. д.

Дня через два я приехал в Москву. Пора была действовать.

По моему предложению Линдер, закулив трубку, отправился к любовнице Горошка на Переяславльскую улицу, захватив, разумеется, и рекомендательное письмо арестованного харьковского чиновника. Для удобства дальнейшего изложения, буду называть этого чиновника Дзевалтовским.

Линдеру было строжайше запрещено не только видеться со мной, но и близко подходить к Мало-Гнездиновскому переулку, то есть к зданию сыскной полиции, где я проводил целые дни у Маршалка, руководя делом. По прежнему опыту было известно, насколько осторожны и осмотрительны варшавские воры. И не подлежало сомнению, что за Хамилейненом будет установлена ими слежка.

Итак, я с нетерпением стал ожидать телефонных сообщений Линдера о его визите к даме Горошка. Часа через три он звонил и докладывал:

— Явился я на Переяславльскую улицу, позвонил; открывшая мне дверь субретка, впилась в меня глазами.

— Барыня дома? — спросил я ее.

— Пожалуйте, дома...

Я передал ей новенькую визитную карточку, на которой значилось:

ИОГАН КАРЛОВИЧ ХАМИЛЕЙНЕН

а внизу, петитом:

маклер Гельсингфорской биржи

Ко мне в гостиную вскоре вышла красивая, молодая женщина и, подняв удивленно брови, промолвила:

— Вы желаете меня видеть?

Я, ломая русскую речь на финский лад, сказал:

— Мне дали ваш адрес и сообщили, что у вас я могу повидаться с господином Квятковским.

— Квятковским? А кто это такой?

— Это господин, к которому у меня имеется письмо из Харькова, и нужен он мне по важному делу.

Барынька пожала плечами и ответила:

— Я, право, ничего сказать вам не могу. Впрочем, эту фамилию, кажется, я слышала от моего брата. Будьте любезны, оставить ваше письмо. Брат часа через два вернется, а за ответом, не откажите, зайти завтра часов в двенадцать.

Я несколько подумал, как бы в нерешительности, колебался, а затем все же передал ей письмо Дзевалтовского. Во время нашего разговора входила горничная помешать печку, и я заметил, что последняя усиленно меня разглядывает.

«Эге! Будет слежка!» — подумал я.

И, действительно, одев пальто и дав горничной сеньенькую на чай, я вышел на улицу и вскоре же заметил закутанную фигуру, упорно следовавшую по моим пятам. По пути в гостиницу, я зашел, как богатый человек, в дорогой ювелирный магазин, пробыл в нем минут пятнадцать, купил довольно объемистую серебряную солонку с эмалью и с футляром в руках отправился в «Боярский Двор».

— Отлично, Линдер! Жду вашего завтрашнего рапорта.

На следующий день Линдер докладывает:

— Явился я на Переяславльскую ровно в двенадцать. На этот раз меня приняли двое мужчин и, назвавшись Квятковским и Горошком (это, действительно, были они), заявили, что брат хозяйки, передав им письмо Дзевалтовского, предоставил эту квартиру для деловых переговоров со мной.

— Вы давно прибыли из Гельсингфорса? — спросили они меня.

— Сейчас я из Харькова, где пробыл трое суток, — отвечал я. — Все это время я провел с Дзевалтовским и его супругой, три раза у них обедал. Господин Дзевалтовский предложил мне купить у вас на два с половиной миллиона процентных бумаг и снабдил для этого письмом к вам, господин Квятковский. Кстати, его супруга, узнав, что мне предстоит видиться с вами, два раза настойчиво просила передать пану Станиславу ее искренний и дружеский привет.

Тут я взглянул на Квятковского и лукаво улыбнулся. Он, видимо, обрадовался поклону и окончательно успокоился на мой счет, признав во мне «неподдельного» Хамилейнена. После этого разговор принял чисто деловой характер. Я пожелал видеть товар. Мне ответили, что его сейчас нет, и ограничились лишь образцами, показав их тысяч на срок. Я долго и внимательно их рассматривал, одобрил и приступил к торгу. За два с половиной миллиона с меня запросили сначала — два. Я стал протестовать, уверяя, что организация сбыта мне обойдется дорого. В России продать бумаги невозможно, так как они, конечно, уже давно зарегистрированы всеми банками и кредитными учреждениями, как «нелегально» приобретенные. Между тем, ввиду войны, Россия блокирована и переправить их за границу нелегко. Наконец, мы в принципе сошлись на миллионе двухстах тысячах рублей. Договорившись о цене, Квятковский и Горошек заявили, что желали бы иметь уверенность и гарантию в моей покупательской способности прежде, чем доставить товар на Переяславльскую. Я вывернул было им бумажник, туго набитый «куклами» (пачки прессованной газетной бумаги, обернутые с наружной и внутренней стороны

пятисотрублевками), но они на это лишь снисходительно улыбнулись и сказали:

— Этих денег, конечно, далеко не достаточно!

— Разумеется,— ответил я.— Но не могу же я носить при себе миллион двести тысяч рублей!..

— Как же вы думаете быть? — спросили они.

Я ответил, что подумаю и постараюсь доставить им назавтра ту или иную гарантию. Если ничто меня не задержит, то буду у вас завтра, в это время,— сказал я, покидая их.

Какую же гарантию мог им представить Линдер?

Я долго ломал себе голову, и, наконец, остановился на следующем: я отправился в одно из почтовых отделений, возглавляемое моим знакомым, неким Григорьевым, и находящееся неподалеку от Переяславльской улицы.

— У меня к вам просьба,— сказал я Григорьеву.— Завтра, между двенадцатью и четырьмя часами дня, явится к вам в отделение некий господин Хамилейнен, может быть, в сопровождении знакомого и подаст телеграмму в Гельсингфорс, в отделение Леонского Кредита с требованием перевода миллиона двух тысяч рублей на текущий его счет в московское отделение Волжско-Камского банка. Будьте добры, лично принять эту телеграмму, но, конечно, не отправляйте ее, а передайте потом мне.

Григорьев обещал все выполнить в точности, а я поставил Линдера в курс его дальнейшего поведения. Для большей убедительности, Линдер должен был в своей телеграмме указать адрес на Переяславльскую улицу, куда надлежало гельсингфорскому банку направить ответную телеграмму, извещавшую о состоявшемся переводе.

На следующий день Линдер в точности выполнил всю программу: в присутствии Квятковского дал телеграмму и просил последнего немедленно известить его по телефону в «Боярский Двор» о получении ответа из Гельсингфорса.

Направившись снова к Григорьеву, я прочитал телеграмму Линдера, составленную в выражениях, выше мной приведенных, и тут же написал ему ответ: «Москва. Переяславльская улица, 14. Хамилейнен. Согласно вашему требованию, 1 200 000 (миллион двести

тысяч) рублей переводим сегодня Московский Волжско-Камский банк ваш текущий счет № 13602 (тринадцать тысяч шестьсот два) Правление отделения Лионского Кредита».

Григорьев любезно отстукал на бумажной ленте текст этой телеграммы, наклеил его на телеграфный бланк, пометив сбоку место отправления (Гельсингфорс), число и час, заклеил телеграмму и передал ее мне. На следующее утро агент Патапкин, переодетый почтальоном, полетел на Переяславльскую улицу, передал телеграмму и получил даже трешку на чай.

Линдер принялся ждать обещанного извещения по телефону.

Однако, день кончился, но никто ему не позвонил. Я стал уже волноваться, плохо спал ночь, но, вот, на утро позвонил мне Линдер:

— Меня, господин начальник, известили о телеграмме, переслав ее, и просили быть завтра, к двум часам на Переяславльской для окончания дела.

Линдер сообщил мне это каким-то упавшим голосом.

— Что это вы, Линдер, как будто испугались?

— Да, не скрою, что жутковато! Ведь, вы подумайте, господин начальник: являюсь я туда, по их мнению, с миллионом двумястами тысячами, а что, если этим мошенникам придет мысль меня убить и ограбить?

— Ну, вот тоже!.. Точно вы не знаете, что воры — профессионалы их калибра на «мокрые» дела (убийства) не пойдут! Разве, — в случае самообороны.

— Так-то оно так, а все-таки боязно! Почему знать?

— Не падайте духом, Линдер, и помните, что внеочередной чин не дается даром! Вы вот что скажите мне: приходя на Переяславльской близко расположен от гостиницы, где, обычно, вас принимают?

— Да совсем рядом, они смежны.

— Из окон гостиной, можно видеть улицу и подъезд дома?

— Да, крайнее окно выходит к самому подъезду.

— Прекрасно! Через час к вам явится агент под видом приказчика ювелирного магазина, где вы на днях покупали солонку. Он принесет вам футляр с заказанной, якобы, вашей вещью и непременно поже-

лает передать вам ее лично. Запомните его наружность. Этот агент будет завтра, в одиннадцать часов тридцать минут утра стоять справа от подъезда вашей гостиницы, переодетый лихачом, на нем вы и поедете в банк и на Переяславльскую. Я сейчас с этим приказчиком пришлю вам написанную диспозицию завтрашнего дня. По телефону о ней говорить и долго и небезопасно. Кроме того, этим способом исключается возможность ошибок: у вас будет достаточно времени изучить ее в точности. Ну, до свидания, Линдер, желаю вам полного успеха и не забывайте о предстоящей награде.

Повесив трубку, я принялся писать.

«Ровно в двенадцать часов выходите из дому и усаживайтесь на поджидающего вас лихача справа от подъезда. Едете на нем в Волжско-Камский банк, выходите у подъезда, держа под мышкой небольшой, заведомо пустой портфельчик. В банке вас встречает агент, что явится сегодня к вам в 8 часов вечера под видом знакомого (запомните хорошенько его лицо) и где-либо в уборной банка набьет вам портфель двенадцатью пятистурблевыми «куклами», изображающими 100 тысяч рублей каждая. Пробыв в банке не менее часа, вы выходите из него, озабоченно озираясь и демонстративно таща набитый портфель под мышкой. Лихач вас доставит на Переяславльскую, где и станет вас ожидать у подъезда. Если, паче чаяния, «товара» на этот раз не окажется на месте, то выруайтесь или держите себя сообразно с обстоятельствами, но, не поднимая тревоги, уезжайте не в духе домой. Если товар на месте, то, убедившись в этом, начните приемку, что должно с проверкой бумаг и купонов занять у вас, примерно, около двух часов. Во время приемки, как бы опасаясь, чтобы извозчик не уехал, подойдите к окну, громко постучите в стекло и обернувшись на стук лихачу, строго погрозите пальцем и мимикой передайте ему приказание дожидаться вас хоть до вечера. Лихач, как бы озябнув, примется бить себя рука об руку и по плечам, что послужит сигналом для дежурившего напротив Курнатовского. Ровно через полчаса после этого сигнала (по часам) Курнатовский с дюжиной агентов ворвется в квартиру и перearестует всех. Было бы желательно, но не необ-

ходимо, под каким-либо предлогом пройти вам в прихожую и незаметно приоткрыть дверь, выходящую на лестницу, что облегчило бы Курнатовскому с людьми моментально ворваться в гостиную. Впрочем, при наличии заготовленных заранее приспособлений, дверь, в случае чего, будет в минуту взломана. Предписываю вам строжайше придерживаться этой программы, предоставляя вам лишь право менять, по собственному усмотрению, только несущественные детали своего поведения, однако, не нарушающие ни на йоту общего намеченного плана».

Эту своего рода диспозицию я направил тотчас же к Линдеру, в «Боярский Двор», с агентом.

На следующий день, к двум часам Переяславльская улица была запружена агентами: четыре дворника с метлами и ломами скалывали и счищали лед, тут же сновали три извозчика, на углу газетчик прикрывал названия газет, на другом — нищий просил милостыню, какой-то татарин с узлом за спиной обходил, не торопясь, дворы и заунывно кричал: «халат, халат!..» Л. А. Курнатовский сидел напротив наблюдаемого дома в пивной лавке и меланхолично потягивал из кружки пиво. Все люди, разумеется, были вооружены браунингами.

Ровно в два часа к подъезду подлетел лихач, едва осадив рысака. Из саней вышел Линдер с портфелем под мышкой, пугливо огляделся кругом и, наконец, вошел в подъезд особняка. Прешло, пожалуй, около часу, — рассказывал мне потом Курнатовский. — Я не спускал глаз с лихача. Наконец, я с облегчением увидел, как наш возница принялся хлопать рукавицами сначала друг о дружку, а затем и крестообразно по плечам, мерно раскачиваясь туловищем взад и вперед. Я взглянул на часы, было без пяти три. Ровно двадцать пять минут четвертого я вышел из лавки, мигнул моим людям и быстро в сопровождении десятка подбегавших агентов я ворвался в подъезд. Дверь квартиры оказалась открытой и мы, пробежав прихожую, ворвались в гостиную. Не успел наш Линдер вскрикнуть с деланным изумлением что-то вроде «Тер-р-ио-ки!», как столы были опрокинуты, бумаги рассыпаны, а Квятковский и Горошко оказались поваленными на пол, обезоруженными и в паручниках. В общей пота-

совке досталось и Линдеру, продолжавшему выкрикивать какие-то чухонские ругательства.

Обыска делать не пришлось, так как все похищенные процентные бумаги оказались налицо.

В большом волнении сидел я в сыскной полиции, ожидая исхода линдеровской покупки. Время тянулось бесконечно долго. Я пытался представить себе происходящее: вот два часа — Линдер не звонит, следовательно, «товар» оказался на месте. Вот четыре, — возможно, что лихач дал сигнал и Курнатовский готовится нагрянуть. Может, уже и нагрянул?!

Около пяти часов послышался шум, топот многих шагов и в кабинет ко мне вошли и Курнатовский с агентами и арестованные Квятковский, Горошек и Линдер. Курнатовский нес в руках отобранный чемоданчик с бумагами.

— Что, Людовик Антонович, деньги все налицо?

— Да, Аркадий Францевич, все.

— Ну, слава Богу!

Горошко и Квятковский все время конфузливо глядели на Линдера, словно извиняясь за невольное вовлечение его в беду. Впрочем, это продолжалось недолго, так как Линдер, оборотясь ко мне, сказал:

— Прикажете, господин начальник, снять с меня эти проклятые наручники! У меня от них затекли руки.

Я, улыбнувшись, приказал освободить Линдера и предложил ему сесть. Увидя это и услыша чистую речь Линдера, поляки опешили и, раскрыв рты, впились в него изумленными глазами.

Выслушав краткий доклад Курнатовского, я предложил Линдеру рассказать о своем последнем визите.

— Приехал я, господин начальник, ровно в два часа на Переяславльскую, снял пальто, но в гостиную вошел обмотанный вот этим бело-зеленым, вязаным шарфом. Извиняясь за него, я сказал: «Ну, и Москва выпала! Едва приехал, а уже простудился: и кашель, и насморк!» — «Москва — не Варшава и климат здесь не наш!» После этого Горошек и Квятковский усердно стали предлагать мне выпить стакан вина за предстоящую сделку. Они тянули меня к здесь же стоящему столику, на котором виднелись несколько марок шампанского, дорогие фрукты и конфеты. Я решительно

отказался, заявив, что прежде всего дело, а потом уже и всырки. Они очень не настаивали и вскоре мы заняли места, я — с одной стороны двух сдвинутых и раскрытых ломберных столов, а Квятковский и Горошек с другой. «Прежде, чем приступить к приемке и расчету, для меня было бы желательно видеть весь товар, а для вас, очевидно, — деньги. Вот почему, прошу вас выложить все продающиеся бумаги на стол, что касается денег, то вот они. Я раскрыл свой портфель, быстро высыпал его содержимое и еще быстрее спрятал пачки обратно. Квятковский вышел и принес из соседней комнаты чемоданчик и выложил из него на стол кипы процентных бумаг. Мы вооружились карандашами, бумагой и началась приемка. Я тянул сколько возможно: осматривал каждую бумагу, подробно записывал наименование, проверял купоны и т. д. К счастью, бумаги были не очень крупного достоинства, все больше в пять и десять тысяч, таким образом, число их было велико. Приняв их на пятьсот тысяч, я откинулся на спинку кресла, раскашлялся и, взглянув на часы, деланно ужаснулся: «Господи! Уже три часа, а проверено меньше четверти!» Затем, словно спохватившись, — «Как бы не уехал мой дурак!» — и, встав, я поспешно пошел к окну, громко постучал в стекло и выразительно погрозил лихачу пальцем. Затем снова уселся и продолжал приемку, не забывая время от времени кашлять. Минут через двадцать я симулировал новый и жестокий приступ кашля, что называется — до слез и полез в карман за носовым платком. Его якобы не оказалось. «Наверное, он в пальто», — сказал я и, не дав опомниться моим продавцам, быстро встал и, не расставаясь ни на минуту с портфелем, прошел в прихожую. Оглянувшись, и не видя за собой никого, я поспешно отщелкнул французский замок на двери и, вынув из кармана платок, вернулся в гостиную, прижимая его к губам и обтирая слезы. Мы опять принялись за дело, но не прошло и десяти минут, как из прихожей неожиданно ворвались наши люди, и мы оказались поваленными, обезоруженными и скрученными. Кстати, господин начальник, прикажите вернуть мне мой браунинг!

Поляки, не отрывая глаз от Линдера, слушали его рассказ, после которого Квятковский воскликнул:

— Як Бога кохам, ловко сделано! Что и говорить! Я готов был бы об заклад биться, что пан не русский, а фин! Да, наконец, поклон от пани Дзевалтовской, телеграмма, деньги, сегодняшняя поездка за ними в банк! Ведь, пан, не знал, что люди мои следили за вами?

— Все, все знал, пан Квятковский! — ответил Линдер. — На то мы и опытные сыщики, чтоб все знать! Вы, варшавские гастролеры, работаете тонко, ну, а мы вас ловим еще тоньше.

Квятковский поцокал языком и недоуменно покачал головой из стороны в сторону.

— Вы не сердитесь, господа, если при аресте, вас несколько помяли, — сказал я, — но, вы сами понимаете, что при данных обстоятельствах это было неизбежно.

— Помилуйте, господин начальник, мы нисколько не в претензии. Что же делать? Мы берем, а вы ловите, каждый свое дело делает. Жалко, что сорвалось все так неожиданно. Но мы свое наверстаем, будьте уверены!..

— Скажите, не укажите ли вы мне адреса остальных семи человек, участвовавших с вами?

— Нет, господин начальник, не укажем. Мы пойманы, деньги вами найдены, ну, и Бог с ними! А выдавать мы никого не будем.

— Это ваше дело, конечно! Но, я надеюсь, что и без вашей помощи мы их разыщем.

Я приказал немедленно арестовать и тех двух воров, о которых мне телефонировал Маршалк еще в Петроград и за коими все эти дни был установлен надзор. К вечеру было арестовано еще трое участников, нарвавшихся на засаду, оставленную нами в квартире на Переяславльской. Таким образом, считая с чиновником Дзевалтовским, нами было задержано восемь человек из девяти. Девятый скрылся бесследно и до февральской революции не был обнаружен.

По ликвидации этого громкого дела на работавших в нем посыпались награды: Лапсину (харьковскому помощнику начальника сыскного отделения) дана денежная награда. Линдер получил чин вне очереди, Курнатовский украсился Владимиром 4-й степени.

Так были отмечены наши заслуги Царским Правительством. Временное правительство отметило их несколько иначе. При нем двери тюрьмы широко раскрылись для выпуска из тюремных недр всякого мазурья и для помещения туда нашего брата. Бедный Курнатовский, встретивший революцию в должности начальника харьковского сыскного отделения, на которую был назначен через две недели после раскрытия вышеописанной кражи, был посажен в ту же харьковскую тюрьму, где и встретился и с Горошком, и с Квятковским, и прочими участниками банковской кражи. К чести последних должен сказать, что ни мести, ни злодарства они к Курнатовскому не проявили и вообще поведением своим в этом отношении резко отличались от наших российских воров. По моему ходатайству перед князем Г. Е. Львовым, Курнатовский был освобожден и, промаясь с год в России, эмигрировал, наконец, в Польшу, где и поныне состоит не то начальником, не то помощником начальника варшавского уголовного розыска. Маршалк и Линдер, тоже протомившись известное время в Совдепии, перебрались в Варшаву, где, насколько мне известно, занимаются ныне коммерцией. Что касается вашего покорного слуги, то осенью 1918 года он чуть ли не в одном пиджаке пробрался к гетману, в Киев. С падением Скоропадского и при нашествии Петлюры я дважды порывался выбраться из Киева, но оба раза меня высаживали петлюровцы из поезда и, таким образом, я застрял и пережил в Киеве большевистское нашествие.

В эту мрачную пору я брел как-то по Крещатику. Вдруг слышу голос:

— Никак, пан Кошко?

Поднимаю голову и вижу перед собой Квятковского и Горошка. Я так и обмер! Ну, думаю, пропал я: сейчас же выдадут большевикам! Но Квятковский, видя мое смущение, сказал:

— Успокойтесь, пане Кошко, зла против вас не имеем и одинаково с вами ненавидим большевиков.

Затем, взглянув на мое потертое платье, участливо предложил:

— Быть может, вы нуждаетесь в деньгах? Так, пожалуйста, я вам одолжу!..

На мой отрицательный ответ, он, улыбнувшись, заметил:

— Вы, может быть, думаете, что деньги ворованные? Нет, мы теперь это бросили и занимаемся честной коммерцией!

Я, разумеется, отказался и от «честных» денег, но, не скрою, что от души был тронут этими людьми, что, впрочем, им и высказал. Из Киева я перебрался в Одессу, оттуда — в Крым, затем — в Константинополь и, наконец, в Париж. Но о периоде моей крымской деятельности, в роли заведующего уголовной полицией, равно как и о моем частном бюро уголовного розыска в Константинополе, я, может быть, расскажу вам во втором томе моих служебных воспоминаний.

ПОДДЕЛКА СТОРУБЛЕВОК

В 1912 году Кредитная канцелярия известила московскую сыскную полицию о том, что в обращении появилось значительное количество фальшивых сторублевок идеальной выделки и для примера прислали мне несколько образцов таковых. Местами усиленного обращения фальшивых билетов являлись поволжские районы и Читинский округ в Сибири.

Присланные Канцелярией образцы действительно представляли собой верх совершенства: Канцелярия указывала на едва приметную разницу в рисунке сетки, но этот признак был столь незначителен, что легко мог ввести в заблуждение не только рядового, ничего не подозревавшего обывателя, но и предупрежденного человека. Это вскоре и подтвердилось на ярком для меня примере.

Зайдя в Московский Купеческий банк, я попросил кассира разменять 100 рублей и протянул ему фальшивый билет. Кассир растянул бумажку, поглядел на свет, и затем, спрятав в ящик, принялся отсчитывать мне разменную мелочь.

— А сторублевка-то фальшивая! — сказал я ему.

Он удивленно на меня взглянул и, вынув спрятанный было билет, снова принялся его разглядывать.

— Извольте шутить! — сказал он, улыбнувшись.

— И не думаю, я говорю совершенно серьезно.

Кассир схватил бумажку и помчался к главному кассиру. Вскоре он вернулся и иронически мне заявил:

— Приносите хотя на миллион таких фальшивых бумажек, примем в лучшем виде!

— И плохо сделаете, так как, повторяю вам, что билет подделан. Я начальник полиции и хотел лишь произвести сыт. Во всяком случае, будьте осторожны на будущее время и вот вам отличительный признак:

взгляните на текст, где говорится о наказании, пала-
гаемом за подделку билетов: на фальшивых он закан-
чивается аккуратной точкой, на подлинных же точка
отсутствует.

Наличность точки на фальшивых билетах обнару-
жил один из моих агентов, о чем и известил немед-
ленно в Кредитную канцелярию, пропустившую эту
примету.

Обнаруженная точка имела своим последствием
лишь усиление заявлений о подделке, посылавшихся
из разных банков чуть ли не со всех концов России.

На Москву, как на центр, более близко отстоящий
от Поволжья и Читинского округа, было возложено
это дело, и я принялся за работу.

Всем сыскным отделениям Империи было предло-
жено внимательно следить за появлением в их рай-
онах фальшивых сторублевых и стараться открыть их
первоисточник. Вместе с тем мною были запрошены
все каторжные тюрьмы и места заключений с целью
узнать, не находятся ли в бегах кто-либо из преступ-
ников, отбывающих наказание за прежние подделки
денег.

Прошел месяц-другой, но сыскные отделения не
давали утешительных сведений. Из рапортов их на-
чальников выяснилось, примерно, одно и то же, а имен-
но: появлялись поддельные билеты, предъявители их
опрашивались, указывались вторые, третьи, иногда пя-
тые источники их получения, но по проверке это были
все люди, не внушающие ни малейшего подозрения.
Впрочем, это было и неудивительно, так как благода-
ря идеальной подделке сторублевки успевали пройти
через десятки, а иногда и сотни рук, прежде чем по-
пасть в какой-либо банк или к какому-либо осведом-
ленному о точке спекулянту. Известить же при помо-
щи газет всех и каждого о злополучной точке — не
представлялось возможным, так как не подлежало со-
мнению, что мошенники тотчас же внесут корректив в
свою работу, а это, конечно, лишь осложнит розыск.

По сведениям, полученным из мест заключения,
выяснилось, что все фальшивомонетчики либо благо-
получно находятся на месте, либо, отбыв наказание,
ведут более или менее «добродетельный» образ жизни
на поселении, под надзором полиции.

Исключение составляли лишь два человека — Левендаль и Сивв, отбывавшие наказание за подделку пяти- и десятирублевых бумажек и бежавшие с полгода тому назад из Читинской каторжной тюрьмы. Оба в прошлом были искусными граверами по камню. Все попытки розыска отыскать их — не привели ни к чему. Надо думать, что с хорошо подделанными паспортами они укрылись либо где-либо в глуши, либо бежали за границу.

Прошло еще несколько месяцев, но дело не разъяснялось. «Эпидемия» фальшивых билетов то как будто угасала, то вдруг вспыхивала с новой силой. Я стал уже приходить в отчаяние.

В это тревожное время я получил от начальника Читинского сыскного отделения рапорт, несколько отличающийся от его предыдущих донесений. В начале этого рапорта он докладывал, что все поиски по-прежнему безуспешны, но в конце добавлял следующее: «Живут у нас в Чите три брата С., местные золотопромышленники, богатые староверы, пользующиеся всеобщим уважением. Живут они замкнуто, дел их точно никто не знает. Я, разумеется, никаких улик против них не имею, но считаю своим долгом рассказать о подмеченном мною странном явлении. Младший из этих братьев часто ездит в Париж и всякий раз после его возвращения поддельные кредитки вновь наводняют край. В Чите они не появляются, но распространяются усиленно по округу. Я было хотел произвести у братьев С. обыск, но, боясь испортить дело, решил дожидаться вашего распоряжения».

Я сейчас же телеграфировал ему, прося не производить пока обыска и предупреждая о командировании мною в Читу агента московской сыскной полиции Орлова.

На следующий же день Орлов выехал на место. Месяца три провел он в Чите и ее окрестностях, старательно собирая как сведения о братьях С., так и малейшие детали по делу о сторублевках.

Относительно братьев С. ничего одиозного он не установил, но, прожив некоторое время на золотсных приисках, он от случайных «старателей», так называемых «чалдонов» (промывателей золота вручную), слышал, что бежавшие каторжане, все те же Левен-

даль и Сиив, похвалялись находкой какого-то капиталиста, согласившегося дать им деньги на оборудование предприятия фальшивых сторублевок. Имени этого капиталиста они не называли. Что же касается самих беглых, то след их давно простыл.

В одном из своих донесений Орлов предупредил меня, что на днях С. едет в Париж. Я приказал Орлову следить за С. до Москвы и здесь передать «товар» мне.

Было решено, что чиновник особых поручений К., не раз талантливо выполнявший сложные заграничные поручения, отправится за ним во Францию, где и наблюдает за его деятельностью, чрезвычайно странно совпадающей, как я уже упоминал, с увеличением количества фальшивых денег в Читинском округе. С чиновником К. захотел отправиться и товарищ прокурора Московского Окружного Суда Г. Чернявский.

Орлов благополучно «доставил» С. в Москву, а из Москвы читинский старовер выехал в Париж в сопровождении московского окружного суда Г. Чернявский.

Позднее чиновник К. рассказывал о своей поездке следующее:

«До границы наш читинец ехал тихо и скромно, но перевалив ее, заметно оживился и стал проявлять в своем поведении нечто, плохо гармонирующее с понятиями о старовере-пуританине, каковым его привыкли считать в Чите. Я думал, что в вагон-ресторан он явится чуть ли не со своей посудой, и был удивлен, застав его там с сигарой в зубах и с бутылкой лафита на столике. Он ел со вкусом, много пил и, наконец, познакомившись с какой-то накрашенной девицей, исчез вместе с ней в свое купе. В Париже он остановился в приличной, но не фешенебельной гостинице «Normandy», близ avenue de l'Opera.

Я обратился к французской полиции и мне откомандировали в помощь двух агентов, после чего я установил непрерывное наблюдение за С. Первые три дня упорной слежки ничего не дали: С. забегал в магазины, питался по ресторанам, раз был в опере. Но на четвертый день он нанес весьма странный визит одному из парижских лавочников. Выйдя из гостиницы и как-то тревожно озираясь, С. пешком пересек чуть ли не весь город и, добравшись до улицы Марса-

det, завернув в небольшую лавчонку, на окнах которой виднелись чемоданы, несессеры и пр. дорожные принадлежности. Пробыл он в лавке довольно долго, после чего нанял фиакр и вернулся в гостиницу. Визит, разумеется, был высоко подозрителен, так как для чего, спрашивается, было С. бежать за сундуком или несессером чуть ли не на край света, когда магазины с соответствующим товаром имелись и вблизи гостиницы «Normandy»? Записав адрес лавки, я решил выждать события и не допрашивал пока лавочника. На следующий день рано утром, я был крайне огорчен моими французскими коллегами, прибежавшими ко мне в номер и заявившими, что этой ночью «русский» скрылся, заявив в гостинице, что уезжает на неделю в Лион. Хотя он и указал место своей поездки и даже оставил за собой номер и вещи в нем, во все это могло быть маневром для отвода глаз, если только С. заметил за собой слежку. Я немедленно выехал в Лион. Мне думалось, что если С. и там проживает, как в Париже, под своим настоящим именем, то мне не трудно будет его настигнуть. Но, увы! С. в Лионе не оказалось, и я вернулся ни с чем. С величайшей тревогой я стал поджидать его возвращения в Париж, плохо, признаться сказать, в это веря. Но ровно на седьмой день, к величайшей моей радости, С. подъехал к гостинице с каким-то свертком в руках. В этот же день он опять побывал у лавочника на улице Marcadet, причем, на этот раз, лавочник выволок ему новенький чемодан порядочных размеров и помог ему погрузить его на извозчика, после чего С. увез покупку в гостиницу.

Поручив на время слежку за С. французским агентам, я лично направился к лавочнику и без лишних слов, предъявил ему мой полицейский мандат, потребовал объяснений. Лавочник сначала растерялся, но, не желая, видимо, впутываться в чужое темное дело, чистосердечно заявил:

— Да, я знаю этого русского, он хороший клиент, платит аккуратно, и за этот год уже в четвертый раз заказывает у меня дорожный сундук особой конструкции. Особенность ее заключается в том, что у сундука двойное, хорошо замаскированное дно. Для чего нужен ему этот тайник, мне не известно. Я, как тру-

долюбивый и честный ремесленник, исполняю заказ, а остальное меня не касается.

Оставив у лавочника дежурного ажана, дабы не дать ему возможности оповестить покупателя о моих расспросах, я полетел в «Normandy». Здесь оказалось, что С. потребовал уже счет и вечером же намеревается выехать в Россию. Я хотел было немедленно его арестовать, так как не сомневался, что в сундуке обнаружу пачку фальшивых сторублевок, но затем решил дать добраться С. до русской территории и арестовать его уже там, дабы избежать многих лишних хлопот, связанных с выдачей иностранному государству уголовного преступника. В тот же вечер мы выехали в Россию и по приходе поезда на пограничную станцию Александрово, я арестовал С. и лично осмотрел его багаж. Взломав дно злополучного сундука, мы извлекли оттуда на 300.000 рублей фальшивых сторублевых билетов.

С. держал себя преглупо: отрицал всякую за собой вину, ссылаясь на полное неведение двойного дна в сундуке и т. д. Он был отправлен в Варшаву и посажен в тюрьму.

Одновременно с этим я дал телеграмму в Читу, прося произвести обыск в доме у остальных братьев С. Обыск этот, однако, не дал ничего.

Теперь предстояло выяснить местонахождение самой «фабрики». Это оказалось далеко не легким. С. продолжал от всего отпираться. Пришлось прибегнуть к «подсадке». Целых два месяца просидел с ним в камере посаженный агент, но, хотя и подружился с ним, тем не менее не добился тайны. Наконец, на третьем месяце, при получении агентом печатного постановления прокурорского надзора об его, якобы «освобождении от ареста и суда», С. в него уверовал и попросил от услуги: осторожно пронести и опустить в кружку письмо. Агент долго отказывался, но, наконец согласился. Крохотный конвертик был адресован в Париж, 25, rue, du Moine, M-lle Grenier. В нем оказалась просьба повидать Левендаля и передать ему, что в Нице все уничтожено, что он сидит в тюрьме и что расчетов не будет.

Это письмо по прочтении вновь бережно было запечатано и отправлено по адресу. Одновременно чинов-

ник К. опять выехал в Париж и принялся наблюдать за M-lle Grenier.

Последняя оказалась рядовой мидинеткой, служащей в парфюмерном магазине, добродетельной по расчету, бережливой по инстинкту, веселой по природе, словом, дитя Парижа, каких много! Утром она отправлялась на работу, в двенадцать часов проглатывала кусок сыру и чашку кофе, в восемь возвращалась домой, оттуда уже не выходила до следующего утра. К. целых трое суток потерял, созерцая это «платоническое» поведение M-lle Гренье. Он диву давался: ведь должна ж она выполнить поручение и повидать Левендаля! Вдруг его осенила счастливая мысль: продежурить у ее дома целую ночь, вместо того, чтобы прекращать наблюдение к полуночи, как он это делал до сих пор. Результаты получились хорошие: часа в три утра из подъезда показалась M-lle Гренье, посмотрела по сторонам и, быстро перебежав улицу, скрылась в доме наискось. Пробыла она там минут двадцать и вновь появилась на улице с каким-то рослым и неряшливо одетым типом. Распростившись с ним, она перешла улицу и снова скрылась в свой подъезд. К. взглянул для верности на имеющуюся при нем фотографию, и убедился, что собеседник Гренье не кто иной, как Левендаль. Он незаметно последовал за ним. Левендаль пересек несколько улиц и, завернув в rue de La Jonquiére, вошел в какой-то дом. Вскоре он появился с человеком небольшого роста, в котором К. без труда узнал Сиива.

Подозвав нескольких полицейских, К. арестовал обоих.

Они не запирались. Обозленные на старовера С. за его скупость и недобросовестные с ними расчеты, они выложили все начистоту. По их словам, С. помог им бежать с каторги, снабдив деньгами и платьем. Они уговорились широко организовать производство сторублевков. С. по частям перевез в Ниццу необходимые станки, бумагу, краски и пр. материалы и дело пошло. Сначала С. платил аккуратно, но затем стал сильно затягивать платежи, в результате чего оба они давно бедствуют и голодают. Перед последним приездом С. писал, что едет во Францию в последний раз, после чего уничтожит в Ницце фабрику, и, прекратив дело, рассчитается с ними по-царски.

— Узнав сегодня через Гренье, — рассказывал Левендаль, — что все пропало и что расчета не будет, — я побежал предупредить товарища и мы оба намеревались скрыться, как вдруг вы нас арестовали.

По указанному адресу К. проехал в Ниццу и, обыскав тщательно скромную виллу, бывшее место выделки бумажек, нашел в ней случайно неупичтоженные мелкие части станков. Сомнений не было — С. ликвидировал «дело».

Все три фальшивомонетчика были приговорены к долгосрочной каторге.

Что случилось с ними после революции — не знаю.

УБИЙСТВО БУТУРЛИНА

Убийство поручика Бутурлина — преступление незаурядное. Оно явилось своего рода знамением времени, так как крайне редко до того было выдано в России, чтобы люди высокой культуры, ума и образования отягощали свою совесть убийством, имеющим целью сравнительно ничтожную материальную выгоду. Я не говорю об инициаторе убийства, Обриене-де-Ласси: у него алчность питалась крупными суммами. Но Панченко, этот жалкий и гнусный доктор Панченко, использовавший свои медицинские познания для умерщвления пациента, за всю «операцию» должен был получить лишь 5 тысяч рублей. За эти деньги он согласился нарушить докторскую присягу и хладнокровно втыкать им же умышленно загрязненный шприц в тело больного, нетерпеливо ожидая заражения крови и смерти последнего. Какой жутью веет от этого старика, похоронившего в себе всякие проблески человечности...

Дело было так. Весною 1910 года, через агентуру, до петербургской сыскайной полиции дошли слухи о том, что скончавшийся недавно поручик Преображенского полка Бутурлин умер не естественной, а насильственной смертью, что подкладкой всего дела являются какие-то денежные домогательства наследников и т. д. Так как к этим слухам присоединяли еще и имя доктора Панченко, давно известного полиции по ряду темных делишек, им обстриганных, то решение было обратить особое внимание на эти сведения, чтобы проверить их основательность. С этой целью приступлено было прежде всего к выяснению семейной жизни предполагаемой жертвы преступления. Она представилась в следующем виде:

Покойный поручик был сыном небезызвестного генерала Бутурлина и его жены, урожденной графини Ь. Бутурлины были богаты, обладали несколькими домами в Петербурге, из которых дом у Мойки на Пращечном переулке был особенно красив (сооружение строителя Исаакиевского собора — Монферана). В этом доме позднее помещалось итальянское посольство. Кроме того Бутурлиным принадлежало прекрасное, огромное имение под Вильно, знаменитый «Зверинец». Старик Бутурлин, тратя немалые деньги на себя и свои «петербургские прихоти», был довольно скуп по отношению к семье, состоявшей из жены и двоих детей, покойного поручика и дочери. Дочь была замужем за неким Обриен-де-Ласси, человеком не бедным, но несколько запутавшимся в многочисленных долгах и предприятиях, душой которых он являлся.

По собранным сведениям выяснилось, что у детей Бутурлиных с отцом отношения «кисло-сладкие», и что они сильно интересуются будущим наследством.

Так как большая часть имущества Бутурлина представляла собой майорат, то главным наследником в будущем должен был явиться именно умерший поручик, в случае же его смерти — старший в роде, т. е. сын дочери, маленький Обриен-де-Ласси. Это обстоятельство сразу же заставило петербургскую сыскную полицию насторожиться. Принялись за тщательное обследование деятельности доктора Панченко вообще и за последнее время в частности. Тут развернулась вся та странная и подозрительная картина.

Еще раз подтвердились те темные данные о нем, что уже имелись у полиции. Его медицинская практика заключалась, главным образом, в выдаче фиктивных свидетельств, в рекламировании «универсальных» лекарств и в широком применении абортов. Панченко обладал довольно серьезными медицинскими познаниями, но их он применял предосудительнейшим образом: выяснилось, что за последние годы им было написано за вознаграждение несколько десятков диссертаций для врачей, чающих степени доктора медицины. Весь свой заработок Панченко отдавал некоей Муравьевой, перед которой он буквально благоговел. Муравьева всячески эксплуатировала доктора, обращалась с ним жестоко, и нередко, при уменьшении за-

работка Панченко подвергался с ее стороны побоям и временно выбрасывался на улицу.

Как Обриен-де-Ласси познакомился с Панченко — неизвестно: но выяснилось, что именно он, де-Ласси, привозил и усиленно рекомендовал Панченко покойному Бутурлину. Из дальнейших справок оказалось, что в период болезни Бутурлина, незадолго до знакомства с ним Панченко, последний ездил в чумный форт для каких-то лабораторных работ, причем в это же время из лаборатории пропали колба с чумными бациллами.

Принимая во внимание все эти данные и неожиданную заботливость, проявленную Обрисом-де-Ласси к больному бо-фреру, с которым до сих пор он был весьма холоден, начальник петербургской сыскной полиции, В. Г. Филиппов решил арестовать и Обриена, и доктора Панченко.

Одновременно было получено разрешение вынуть из склепа труп Бутурлина для исследования его внутренних органов. От этого вскрытия ждали важных результатов, но оно почти ничего не дало: не было обнаружено ни малейших следов какого бы то ни было яда, и, по заключению экспертов, смерть последовала от заражения крови.

Я крайне бегло описываю это трагическое происшествие, так как в свое время вся русская пресса подробно о нем писала, и русской публике оно хорошо известно. Я принялся за этот очерк лишь потому, что признания Панченко, сделанные им в форме частного письма Филиппову и переданные мне последним, поразили меня. Десятки раз перечитывал я это письмо и знал его когда-то чуть ли не наизусть. Несколько ниже я привожу почти текстуально этот «человеческий документ». Как сильны страсти человеческие, когда по неведомым нам душевным комбинациям, под влиянием известных роковых двигателей, по роковому стечению обстоятельств, человек теряет власть над собой и делается игрушкой собственных инстинктов, иллюзий и похотей.

Сидя в тюрьме, Обриен решительно отрицал всякую за собой вину.

Панченко первое время держался такого же метода, но вскоре стал сдавать и обнаруживать признаки

душевного волнения. В минуту слабости он даже как-то неожиданно, хотя и глухо, признал свою вину, затем взял это признание обратно; через неделю опять сознался и указал на то, что дня за три до смерти Бутурлина посылал Обриену телеграмму: «Все конечно, когда расчет». По проверке на телеграфе заявление это подтвердилось.

На каждом допросе Панченко с волнением расспрашивал о здоровье и житье-бытье своей сожительницы Муравьевой, удивляясь отсутствию прямых от нее известий и т. д. Вскоре, однако, он понял, что не существует больше для нее, и, видимо, окончательно пал духом. Прождав еще с месяц, он неожиданно принес полную повинную.

Как и следовало ожидать, Обриен-де-Ласси, желая устранить поручика Бутурлина, наследника майората, прибег к помощи д-ра Панченко, уговорив последнего за пять тысяч рублей совершить убийство.

Пользуясь хронической болезнью молодого Бутурлина, Обриен усиленно рекомендовал ему «чудодейственного» доктора Панченко, и привез последнего к больному. Панченко сначала намеревался ввести шприцом в организм чумные бациллы, для чего и украл трубочку с чумными культурами, но затем нашел более осторожным отказаться от этой затеи и остановился на менее сложной, но одинаково смертоносной инфекции: он просто умышленно загрязнил шприц. Долго сильный организм убитого не поддавался заразе, но Панченко все более и более загрязнял иглу, нетерпеливо ожидая преступных результатов. И, наконец, когда заражение крови стало очевидным фактом, Панченко и послал телеграмму Обриену-де-Ласси, о которой упомянуто выше.

Каким-то зловещим ужасом веяло от признания Панченко. В письме к Филиппову он говорил так:

«Да. Я убил его. Мой грех. Но сможете ли вы понять все те душевные переживания, весь тот тернистый скорбный путь, которым я дошел до этого. Мне думается, что нет. Вы не поймете хотя бы потому, что редкому человеку выпадает несчастье быть обуреваемым тем страшным чувством, что люди банально называют любовью, не имея, в сущности, о ней ника-

кого понятия. Да, я любил, любил каким-то демоническим чувством. Все мною приносилось ей в жертву: я работал, как вол, я сокращал до минимума часы отдыха и сна, я втапывал в грязь мое имя и честь и, наконец, совершил убийство, смертельно ранил свою совесть — и все для того, чтобы на приобретенные этим тяжелым путем деньги, хоть несколько скрасить ей жизнь. На себя я мало тратил: ходил обтрепанным, в истрепанной обуви. Но за то, за все лишения получал, как высшую награду, ее ласку. Вы, обыкновенный, здоровый человек, не поймете того трепета, той жадности, с какими я ожидал этих ярких минут. Впрочем, минуты эти редко мне выпадали на долю. Обычно меня держали в черном теле: кормили остатками с «господского стола», ночевал я часто на полу, у постели, вместе с ее любимой собачкой. Но не все ли равно. Лишь бы быть вблизи от нее, лишь бы дышать одним воздухом с нею. Я любил ее и ласковой и гневной; сладостно было ощущать, как ее розовые ногти впиваются тебе в лицо и безжалостно рвут твою старую кожу. Да, я любил ее так, как нынче уж не любят. Что значит блажь прожигателей жизни, бросающих легко добытые миллионы на женщин. Что значат ревнивые убийцы и самоубийцы, действующие обычно под влиянием аффекта. Как малокровно их чувство по сравнению с моим. Да знаете ли вы, что приди моей святыне мысль об измене на моих глазах, я благословлял бы имя того избранника, сумевшего доставить ей хотя бы минутную утеху, ибо, повторяю, любовь моя не знала жертвенных границ. Я долго ждал и мучился в тюрьме: не страх перед наказанием, не строгости тюремного режима, не даже тень моей несчастной жертвы отравляли мне покой, — нет, а мысли лишь о ней. Мне думалось: неужели же она меня оставит в столь грозную минуту моей жизни. Ведь знает же она, что пара теплых строк или призрак хотя бы и отдаленной заботы и участия были бы достаточны, чтобы поддержать мои слабеющие силы. Но дни текли: ни весточки, ни слуха... И пал я духом. Теперь мне все равно. Тюрма, петля и каторга страшны для тех, кто уязвим в своих переживаниях: при наступлении же душевного паралича нет более ощущений, нет прошлого, нет будущего, как нет и настоя-

щего... Пока еще я жив, но, будучи живым, я ведаю уже глубины небытия»...

Громкий процесс об убийстве Бутурлина закончился обвинительным приговором. Обриена-де-Ласси приговорили к бессрочной каторге. Панченко — к пятнадцати годам каторжных работ. Надо думать, что психопатологические отношения Панченко к Муравьевой несколько смягчили в глазах его судей его тяжкий грех и позволили применить к нему не самую высшую меру наказания, которая предусмотрена нашим уложением за убийство путем отравления.

КРАЖА У ГОРДОНА

Чуть ли не каждый петербуржец знал ювелирный магазин Владимира Гордона, который помещался в Гостином дворе, примерно, против здания Пажеского корпуса. Хотя этот магазин не отличался особым вкусом и изяществом своих изделий, его зеркальные витрины останавливали на себе внимание прохожих богатством и разнообразием выставленных драгоценностей: серебро, золото и целые россыпи бриллиантов, переливающиеся в лучах сотен электрических лампочек всеми цветами радуги, невольно пробуждали зависть и восторги толпы.

Фирма Гордона пользовалась солидной репутацией, большим кредитом и доверием, а потому люди охотно поручали ей ценности для продажи на комиссионных началах.

Рядом с этим пышным магазином помещалась крохотная писчебумажная лавочка.

И вот, как-то в июле 1908 г., хозяин этой лавочки в испуге заявил полиции, что сегодня утром, открывая свою лавку, он сразу заметил что-то неладное: тугой замок его двери как-то слишком легко открылся и, войдя в помещение, он к изумлению своему очутился в темноте. Отдернув откуда-то взявшийся и закрывавший окно зеленый плотный коленкор, он в ужасе обнаружил у прилавка целую кучу ломаного кирпича и огромную дыру, выломанную в стене, смежной с магазином Гордона.

Сыскная полиция немедленно прибыла на место и убедилась в точности описанной лавочником картины. Проникнув в магазин Гордона, она обнаружила полный разгром: все было перерыто, разбросано и перевернуто. На полу, там и сям, валялись серебряные портсигары, ложки, солонки и прочие серебряные из-

делия, которыми воры, очевидно, пренебрегли. В глубине магазина была дверь, ведущая в небольшой кабинет Гордона, где помещался его письменный стол и несгораемый шкаф. Ящики стола оказались взломанными, а на боковой стенке шкафа зияла выплавленная дыра, примерно в четверть квадратного аршина.

Вызванный по телефону Гордон, увидя разгром, схватился за голову и чуть не рехнулся от отчаяния. Его по возможности успокоили и просили указать точно, что именно было похищено. После беглого осмотра он назвал дюжины две золотых часов, десяток золотых портсигаров, немалое количество колец, браслетов и брошек. Но главной потерей являлся ювелирный бумажник, в котором было рассортировано по отделениям множество бриллиантов всевозможных размеров, начиная от одного и до восьми каратов. Бумажник и наиболее ценные вещи были похищены из шкафа, куда их запирали на ночь; менее ценные — захвачены из витрины. Серебро оказалось все в целости. Общая сумма похищенного была заявлена Гордоном в 500 тысяч рублей.

По просьбе полиции, ограбленный ювелир вскоре представил подробнейшую спецификацию пропавших вещей. В ней не только были перечислены все пропавшие ценности, не только был указан точный вес металла и камней каждого из них, но весьма искусно были воспроизведены и соответствующие рисунки. На большинстве вещей имелись отметки «З. Г.». Это клеймо принадлежало мастеру Гутману, обычно работавшему на Гордона и имевшему крупное ювелирное дело в Голландии.

С представленной описи были сняты во множестве копии и фотографические снимки, которые полиция немедленно разослала по всем банкам, ломбардам и крупным ювелирным магазинам не только обеих столиц, но и всей России.

Подробный осмотр разграбленного магазина не дал почти ничего. Единственно, что можно было с некоторой вероятностью предположить — это что кража была делом рук воров либо варшавских, либо южных. Дерзость преступления, быстрота исполнения и качество оставленных на месте преступления дорогих инструментов наводили на эту мысль. Варшавские воры

и южные, часто армяне и греки, схожи по своей работе, по степени предприимчивости, масштабу и дорогостоящему оборудованию их воровского арсенала, но в то же время различны по психологии: варшавский вор при паличии веских улик перестает отпираться, южный же — особенно грек — будучи приперт к стенке уликами, все же продолжает упорно отрицать свою вину, возводя это бессельное заперательство в своеобразную систему.

Полиция принялась рьяно за дело. Десятки агентов были разбросаны по Петербургу, ведя наблюдение, как за Александровским рынком, так и за прочими обычными местами сбыта краденного. Не мало людей дежурило по трактирам, по греческим кухмистерским и польским столовым. Но вору с вещами как в воду канули. Единственно, что удалось установить этими наблюдениями — это отрывочные слухи о том, что «греки хорошо заработали у Гордона». Проходили недели, но ни банки, ни ломбарды, несмотря на крупную награду, обещанную Гордоном за указания, не давали никаких сведений.

Чиновнику К., о котором я упоминал уже в деле об убийстве Тиме, было поручено и дело Гордона. Промучавшись тщетно с месяц, он, расстроенный, явился ко мне за советом.

— Попробуйте, — сказал я ему, — прозондировать почву в южной России. Раз ходят слухи, что тут орудовали греки, то попытайтесь поискать в Ростове-на-Дону, в Кишиневе, в Одессе — в этих излюбленных центрах преступного мира юга России.

К. так и сделал и позднее, раскрыв эту кражу, он мне подробно рассказал о своих южных похождениях и преследованиях «преступных сынов прекрасной Эллады».

Начал он с Ростова. Обследовав местных ювелиров и ломбарды и не найдя ничего, он принялся за банки, которые давали ссуды под обеспечение драгоценностей. Но и эти поиски не увенчались успехом.

После Ростова К. принялся за Кишинев, но и тут счастье не улыбнулось ему. Наконец, он перенес свою деятельность в Одессу. И тут, при осмотре залогов в городском ломбарде, К. наткнулся на ряд вещей, несомненно принадлежащих Гордону. Кем-то были за-

ложены два кольца с бриллиантами, золотой портсигар и толстая золотая цепь. Эти вещи, заложенные под одну квитанцию, носили на себе отметку «З. Г.» и числились в представленной Гордоном описи, копией которой был, конечно, снабжен и К. При этом открытии администрация ломбарда, своевременно уведомленная, пришла в замешательство и принялась отговариваться случайным недосмотром. Во время этих препирательств К. заметил, что местный оценщик все как-то вертится вокруг него, словно хочет что-то сказать. К. построил ему обнадеживающую, поощрительную улыбку и, ободренный ею, оценщик уловил минуту и шепнул:

— Вы в какой гостинице стоите?

К. так же тихо назвал свою гостиницу.

— Ужо я к вам вечером наведуясь! — и с этими словами оценщик деловито принялся пощелкивать на счетах.

К. был сильно заинтригован и с нетерпением принялся ждать визита. Поздно вечером, в одиннадцатом часу, послышался робкий стук в дверь и в номер вошел оценщик. Держал он себя сначала неуверенно и даже робко, но К. быстро обворожил его своей простотой и приветливостью.

— Ну, и жарища же! — сказал оценщик, усаживаясь в кресло. — Одиннадцатый час вечера, а душно, словно в полдень!

— И не говорите! — отвечал К. — Особенно мне, петербуржцу, не привыкшему к югу, — просто невмоготу!

— А вы постоянно изволите жить в Питере?

— Постоянно, я ведь служу там.

— При сыскной полиции состоите?

— Да, я чиновник сыскной полиции.

— Так, так! Хорошее, интересное дело.

— Да, ничего. Пожаловаться не могу.

— А много ли изволите получать жалованья?

— Какое там. Всего три тысячи в год. Впрочем, вы ведь человек посторонний, скрываться от вас не буду: кой-какие доходишки имею.

— Ну, известное дело! Без этого нельзя, — поощрительно сказал повеселевший оценщик.

— А по какому делу, позвольте вас спросить, вы ко мне пожаловали?

— У меня к вам дело не малое и серьезное. Да только, знаете ли, как-то в сухую плохо беседовать. Позвольте вас попотчевать ужином и винцом, за стаканом ловчее нам будет разговаривать.

— Что же? Я и в самом деле проголодался, давайте поедем и выпьем! Только угощения мне не надо: закажем, что каждый хочет, и заплатим всякий за себя.

— Да что там говорить, велик расход, подумаешь! Впрочем, — как хотите.

После нескольких рюмок водки оценщик заговорил:

— Сегодня мне в ломбарде неловко было с вами говорить, уж больно много было народу, тут и члены правления, и директора. А все же по вашему делу я мог бы помочь. Конечно, ломбард случайно промигал и принял ворованные вещи. Ведь в каждом деле бывают ошибки. Но ежели бы он и известил полицию, то какая бы от этого выгода была вам и мне? А награда обещана большая! Так и в бумаге сказано.

— Да, двадцать тысяч рублей! — сказал со вздохом К.

— Вот видите, какие деньжищи! — и оценщик залпом выпил стакан мадеры. — Стало быть, ежели мы с вами откроем вора, то и награда будет не ломбарду, а нам. Я вам все это прямо говорю, так как худого здесь ничего нет; я в этом деле не причастен, конечно, но раз помогу вам в вашей работе, стало быть, половина награды по совести мне?

— Все это так, конечно! Но заклад-то на предъявителя, как при таких условиях найти вора? — сказал К.

— А это уж мое дело, не беспокойтесь! Обещайте поделиться честно, и я вам говорю — найдем!

— Ну что же? Если действительно поможете, — то половина ваша!

— Так по рукам? — спросил повеселевший оценщик.

— По рукам! — отвечал К.

Допив бутылку и начав другую, оценщик приблизил свое кресло и таинственно заговорил:

— Я знаю человека, заложившего у нас вещи, — и, просмаковав произведенное этими словами впечатление, продолжал: — Есть тут в Одессе некая Любка — «Звезда», ее чуть не весь город знает, «шьется» она

все больше с «гречьем» (водится с греками). Так вот эта самая Любка недели две назад явилась в ломбард с каким-то хромым греком, последний и заложил вещи. Да уж что ж тут скрывать, раз вместе дело сделаем,— сказал охмелевший оценщик,— я тут же у этого грека приобрел по сходной цене пару колечек. Как обделаем дело, так одно будет ваше, а другое мое. Делиться — так делиться! Я человек справедливый и честный!

Они уселись на извозчика и помчались на Малый Фонтан. Оценщик указал дом и даже квартиру Любки. Видимо, он прекрасно был с нею знаком и, может быть, не раз даже обдeldывал с ее помощью темные делишки.

К. записал номер дома, а затем заявил:

— Ночь такая чудная! Не пройтись ли нам пешком?

— С удовольствием! — согласился оценщик.

И они отпустили извозчика.

К. стал раздумывать: «Пожалуй, из этого мошенника ничего больше не выудишь. Он, несомненно, косвенный участник в этом деле, а потому осторожнее будет его немедленно арестовать». Придя к такому заключению, К., завидя невдалеке городского, схватил оценщика за шиворот и принялся кричать:

— Караул, грабят!

Подбежавший городской дал свисток, из-под земли вырос другой, и К. с оценщиком повели в ближайший участок. Тут дело разъяснилось. Оценщик был арестован, а К. с двумя агентами ночью же произвел на его квартире обыск. Кроме двух колец, о которых говорил задержанный, ничего другого не нашли. Отправились с обыском к Любке, но и у нее ценностей обнаружено не было, но зато нашлось письмо, присланное ей из Севастополя неким греком Геропулосом, в котором последний писал:

— Известите хромого, что в четверг, в два часа дня, я выезжаю в Смирну на пароходе «Амфитрида».

До отправления парохода у К. оставалось каких-нибудь десять часов времени, а посему он немедленно же ночью дал срочную служебную телеграмму севастопольскому сыскному отделению об аресте при посадке на «Амфитриду» грека Геропулоса. К четырем часам дня был получен ответ об исполнении предпи-

сания, и К. выехал в Севастополь. Здесь, явившись в сыскное отделение, он прежде всего спросил о том, что было найдено при арестованном. Оказалось, что ничего, кроме письма (впрочем, весьма конспиративного содержания) в Константинополь с кратким и еще, видимо, недоконченным адресом на имя какого-то Сереодиса в Галату.

— Да вы его хорошо обыскивали? — спросил К.

— Нет, довольно поверхностно.

— Необходимо сейчас же самым тщательным образом снова обыскать его, — сказал К.

Принялись за обыск и к великому смущению начальника севастопольского отделения вскоре были обнаружены на грече целые «залежи» бриллиантов во швах его платья, в каблуках сапог, пуговицы жилета оказались крупными бриллиантами, обтянутыми материей и т. д.

Геропулос глупейшим образом отрицал свою вину и еще глупее пытался объяснить происхождение найденных камней. Относительно письма заявил, что не отправил его, так как забыл адрес.

Вещи, найденные в Одессе, и камни, отобранные у Геропулоса, составляли незначительную сравнительно часть похищенного у Гордона, а потому надлежало продолжать розыски, и К., после некоторого колебания, решил отправиться в Константинополь.

— Что за экзотическая, что за своеобразная страна эта Турция! — рассказывал мне впоследствии К. — Сознаюсь вам откровенно, что мои исторические познания вообще не особенно глубоки, а в отношении Турции — и тем более. Где-то в закоулках памяти мерещились мне шит Олега, Ая-София, пара вселенских соборов и, если прибавить еще гаремы, фески и халву, то этим исчерпывалось мое представление о Царьграде.

По приезде в Константинополь, прежде всего я направился в русское посольство, рассказал с цели моего приезда и просил помощи и указаний. Ко мне был прикомандирован грек, служащий драгоманом при нашем посольстве. Я объяснил ему, что мне необходимо разыскать некоего грека Сереодиса. Драгоман оказался весьма ловким и услужливым малым. Он посоветовал отправиться к губернатору Галаты и Перы (евро-

пейская часть), который являлся в то же время и начальником полиции. Я был принят изысканно любезно, так как престиж России в то время был в Турции неизмеримо высок. Если к обаянию престижа прибавить чисто восточную церемонную манеру обходиться с людьми, то вас не должен удивлять тот прием, что был мне оказан. Губернатор, окруженный целой толпой подчиненных, при входе моем торжественно встал и, коснувшись сначала лба, груди и, наконец, земли, отвесил мне низкий поклон. Окружающие его чиновники сделала то же с тою лишь разницей, что принялись еще слегка пятиться, проделывая этот жест по нескольку раз. Едва успел я сесть на предложенный мне диван, как откуда-то появилась крошечная чашечка густого черного кофе, и губернатор жестом предложил ее выпить. Лишь после того, как кофе было выпито, он принялся говорить со мной через переводчика. Его витиеватая речь сводилась к следующему:

— Я не знаю, как благодарить Бога за ту высокую честь, которую вы изволили мне оказать своим посещением. Турция бесконечно дорожит дружбой великой России и ежедневно возносит горячие молитвы Аллаху за драгоценную жизнь Белого Царя. Сегодняшние минуты останутся лучшим воспоминанием моей жизни, так как я, скромный и ничтожный раб моего Повелителя, удостоился счастья, ничем мною не заслуженного, принимать вас у себя!

Выслушав эту тираду, я постарался попасть губернатору в тон и с помощью переводчика отвечал:

— Всемиловитейший Паша, и для меня минуты, проведенные в вашем очаровательном обществе, являются лучшими в моей жизни! И я благодарю Бога, что важное дело дало мне возможность обратиться к вам.

Затем я изложил свою просьбу. Мне было отвечено, что отныне вся цель жизни губернатора будет состоять в розыске лукавого грека Сереодиса, что он, разумеется, будет найден и что я тотчас же буду извещен. После этого последовали опять поклоны, и я, наконец, очутился на свободе.

Прошло три дня, но от губернатора известий не поступало. Я стал было отчаиваться в успехе своих ро-

зысков, как вдруг помощь явилась веожиданно от моего расторопного драгомана. Эти дни он со своей стороны наводил всюду справки и сообщил мне, что с неделю тому назад приехал из Севастополя весьма подозрительный грек по имени Иосиф. Он, драгоман, думает, что Иосиф — не кто другой, как Сереодис. В гостинице Иосиф значится под фамилией Ковардополо, но, очевидно, фамилия эта вымышленная, так как драгоман сделал по собственному почину опыт над Иосифом: стоя как-то в толпе за спиною грека, он произнес негромко — «Сереодис!», и Иосиф быстро обернулся, но затем, спохватившись, поспешил скрыть свое удивление.

Мы медленно отправились на Пера в гостиницу, где остановился предполагаемый Сереодис, но его дома не оказалось, и мы принялись бродить по городу, решив зайти еще раз позднее. Как вдруг, проходя мимо одного из ресторанов, драгоман толкнул меня в бок и прошептал:

— Вот он сидит на веранде!

Я осторожно поглядел в ту сторону и увидел самодовольную греческую физиономию. Одет был Иосиф подчеркнуто по моде, на пальцах его виднелась целая коллекция колец. Он, видимо, благодумствовал и с аппетитом уписывал жирные маслины.

— Нам необходимо его арестовать сейчас же. Но как это сделать?

— Ничего не может быть проще, — отвечал драгоман. — Наискосок живет полицейский. Вы подежурьте здесь, а я мигом его приведу. Да, вот он, кстати, перед своим домом метет улицу.

Я поглядел и заметил какого-то босяка с метлой. Драгоман к нему подошел, что-то сказал, после чего полицейский, бросив мести, исчез в дверях своего дома и минут через пять появился в полной форме. С мошениками в Турции, видимо, не церемонятся, к тому же греки не в большом фаворе у турок. Полицейский, не говоря ни слова, подошел к греку и неожиданного закатил ему пощечину, после чего схватил его за шиворот и, несмотря на крики и протесты, поволок его к моему старому знакомцу — губернатору. Мы последовали за ними. Здесь меня ждал новый сюрприз: часовые, дежурившие у дверей его дома, едва

только мы произнесли имя губернатора, чуть не подняли нас на штыки. Оказалось, что в эту ночь произошел младотурецкий переворот, и все видные чины старого правительства, в том числе и мой губернатор, были арестованы и посажены в тюрьму. Меня принял новый начальник полиции, совсем не походивший на прежнего: очень молодой, в пиджачке, без поклонов и кофе, с явно подчеркнутой тенденцией на европеизм. Узнав от меня о причине нашего прихода, он приказал обыскать грека и среди многочисленных колец последнего оказались два с именниками «З. Г.»; кроме того, его золотые часы носили номер одних из украденных. Осматривая его бумажник, извлекли оттуда какую-то серую бумажку. Но в этот миг Иосиф вырвал ее из рук губернатора и судорожно стал запихивать в рот. Схваченный за горло и не успев проглотить, он выплюнул ее. Это оказалась таможенная квитанция о принятии на хранение двух пакетов. Я попросил губернатора разрешить сейчас же получить пакеты на таможне, но он заявил, что для этого необходимо ходатайство русских судебных властей перед турецким министром внутренних дел.

— Впрочем, вам везет,— продолжал он.— Я вижу в окно прокурора вашего суда, вон он идет по улице, догоняйте его скорее с вашим драгоманом, объяснитесь, и он вам наверное не откажет в рекомендательной записке к нашему министру.

Подивился я такому упрощенному делопроизводству, но пустился с драгоманом вприпрыжку за прокурором. Прокурор оказался милым и обязательным человеком, хорошо знающим нашего драгомана. Он тут же вырвал листок из записной книжки и написал министру, что со стороны русского суда не встречается препятствий к выдаче ценных пакетов из таможни под номером такой-то квитанции. Турецкий министр распорядился тотчас же выдать мне немедленно просимые вещи.

В двух свертках находились почти все бриллианты Гордона.

Иосиф, как и следовало ожидать, оказался Сереедисом. Я собирался было его везти для суда в Россию, но греческое консульство в Константинополе не выдало его, заявив, что по греческому суду от понесет тяжелое наказание.

Геропулос русским судом был приговорен к трем годам тюремного заключения, а оценщик за покупку заведомо краденного — к 6 месяцам. Любка была оправдана, а хромой грек остался неразысканным.

За более чем подозрительное поведение администрация одесского ломбарда поплатилась потерей заложенных вещей и выданных под них денег.

Так была ликвидирована кража у Гордона.

АФЕРИСТ

Как-то в приемные часы ко мне в кабинет явился неизвестный чиновник. Вошел он в форменном сюртуке, при шпаге и в белых нитяных перчатках. Это был малый лет тридцати, некрасивый, с удивительно глупым выражением лица.

— Честь имею представиться вашему превосходительству — губернский секретарь Панов, — отрекомендовался он.

— Присаживайтесь. Что вам угодно?

— Я явился к вашему превосходительству по личному делу. Я стал жертвой мошенничества и пришел просить вашей защиты.

— Расскажите, в чем дело?

Панов скромно откашлялся в перчатку и сказал:

— Конечно, я сам виноват в том, что произошло со мною, я проявил излишнюю дверчивость, но все же обидно ни за что, ни про что потерять восемьсот рублей.

— Нельзя ли ближе к делу, мне время дорого!

— Да, конечно! — сконфузился Панов. — Но не легко мне приступить к объяснению, так как, в сущности, это целая исповедь.

— Ну, что ж, исповедывайтесь, не стесняйтесь!

Панов оттянул пальцем туго накрахмаленный воротник, мотнул головой и принялся рассказывать:

— Видите ли, ваше превосходительство, по природе своей я человек крайне честолобивый и должен сознаться, что всякому чину, ордену и классу должности придаю большое значение. Сам я из простой семьи, но окончил гимназию и с помощью добрых людей пристроился чиновником в Департамент Герольдии. Служу я там шестой год, получаю сто рублей

в месяц. Первое время был доволен, а затем затосковал. Вижу, что ходу мне не дают, так как и протекции у меня нет, да и сослуживцы универсанты обгоняют. Хотя жалованье мое и небольшое, но родительское наследство помогает мне существовать безбедно. И вот, видя, что карьеры мне в Сенате не сделать, я стал громко сетовать на судьбу. Тут один из моих приятелей мне и посоветовал: «Дай,— говорит,— объявление в газетах, что ты готов, дескать, уплатить тысячу рублей тому, кто предоставит место на 200 р. в месяц чиновнику с пятилетним служебным стажем и неопороченным формуляром». Идея мне показалась хорошей. «И правда,— подумал я,— дай-ка попробую». И попробовал. Вскоре получаю приглашение явиться в Европейскую гостиницу в № 27, для переговоров по делу об объявлении. Обрадовался я и полетел на Михайловскую, захватив тысячу рублей. Вхожу в эту шикарную гостиницу, поднимаюсь в третий этаж и робко стучу в 27-й номер. «Войдите!»— ответил мне зычный, важный голос. Я вошел в небольшую прихожую, а затем в богато обставленную комнату, вроде кабинета. За письменным столом сидел господин лет пятидесяти, на вид — совершенный сановник. Он любезно привстал, протянул мне руку и промолвил: «Князь Одоевский. Я пригласил вас согласно вашему газетному объявлению. Скажите, что заставляет вас искать места на двести рублей: материальная зависимость или иные, быть может, побуждения?»

— Нет, ваше сиятельство,— пролепетал я,— материально я независим, но, сознаюсь вам откровенно, что червь честолюбия меня усplenно точит.

— Я так и думал,— сказал он мне.— Ну, что же, честолюбие в меру — черта скорее симпатичная и во всяком случае — естественная в молодом человеке. Я могу помочь вам, у меня большие связи. Но должен вам заметить, что вы несколько наивны. Помилуйте, вы предлагаете тысячу рублей за двухсотрублевое место! Что же, вы хотите не только широко шагнуть по иерархической лестнице, но желаете менее чем в год окупить и все понесенные расходы? Нет, молодой человек, так дела не делаются! Не менее двух тысяч рублей — иначе нам и говорить не о чем!

— Что же, я заплачу и две, если место хорошее.

— А вы, собственно, чего бы хотели?— спросил он более мягким тоном.

— Я, право, не знаю, ваше сиятельство, может быть, вы посоветуете?

— Да кто вы такой и где служите?

Я подробно рассказал ему о себе. Внимательно слушая мой рассказ, он потянул к себе ящик с сигарами и предложил мне.

— Благодарю вас, ваше сиятельство, я не курю.

Не торопясь, князь обрезал сигару и медленно ее раскурил, после чего откинулся на спинку кресла и, пуская тонкие струйки дыма, глубоко задумался. Наше молчание длилось несколько минут. Наконец, как бы очнувшись, он сказал:

— Вот что. Конечно, достать вам место на двести рублей я могу хоть завтра. Но мне кажется, вряд ли это вас устроит. У вас имеется существенный недостаток — отсутствие высшего образования. Положим, я вас устрою каким-нибудь столоначальником, но не говоря уже о том, что ваши сослуживцы будут коситься на вас, вы попадете в тупик. Вам не дадут дальнейшего продвижения и вы карьеры не сделаете.

— Так как же быть, ваше сиятельство?

— Скажите, вы не отказались бы от службы в провинции?

— Нет, душа моя не льнет к провинции. Разве что-нибудь блестящее?

— Хотите, я вас устрою вице-губернатором? Конечно, не в центральной России, а где-нибудь на окраинах, например, в Сибири и, разумеется, не за две тысячи рублей?

От неожиданности и восторга у меня закружилась голова.

— Конечно,— пробормотал я,— это было бы чудесно! Но где же, мне, пожалуй, и не справиться с такой должностью!

— Э, полноте! Не боги горшки лепят, справитесь, привыкнете! Да в Сибири вы и не будете бельмом на глазу — это ведь не Петербург!

Придя несколько в себя, я спросил:

— А каков бы был ваш гонорар?

— Ну, да что об этом говорить,— сказал князь, морщась брезгливо,— каких-нибудь пять — шесть тысяч!

Обычно за такие дела я беру примерно годовой оклад своих протеже. Вас не должно коробить это торжище, так как вы понимаете, конечно, что жизнь — борьба, и за последнее время особенно обострившаяся, все так дорого, за все так дерут!

— Помилуйте! — поспешил я сказать. — С какой же стати вы стали бы хлопотать за постороннего человека? Я прекрасно понимаю и всегда держусь правила, что всякий труд должен быть оплачен.

— Вот именно! Итак, вы согласны?

— Согласен, ваше сиятельство!

— Отлично! Я завтра же повидаю кой-кого из министров и поговорю относительно вас. Вот вам листок бумаги: напишите на нем ваше имя, отчество, фамилию, учреждение, должность и т. д. А то вы у меня не один, как бы не перепутать.

Я повиновался. Затем он сказал:

— Я вам ставлю некоторые предварительные условия. — Во-первых, вы должны быть пемы, как рыба, иначе вы можете напортить, конечно, не мне — вам никто не поверит, а себе. При первом вашем нескромном слове я напрогю все свои связи, и тогда вы очутитесь в Сибири, но на положении, мало схожем с вице-губернаторским. Во-вторых, — авансируйте мне рублей триста, так как в данную минуту я испытываю некоторую заминку в деньгах, а хлопоты по вашему делу могут быть сопряжены с непредвиденными расходами.

Я молча поклонился и поспешно передал князю триста рублей.

— Заезжайте ко мне послезавтра в это же время, — сказал он мне на прощание.

Я раскланялся и вышел, не чувствуя под собою ног от радости. Одеваясь внизу у швейцара, я взглянул на вывешенные визитные карточки постояльцев и с удовольствием узрел против 27-го номера имя князя Одоевского. Я поймал себя на этой мысли и подумал: ишь, Фома Неверный! Да разве и так не видишь, с кем имеешь дело? Какие же могут быть сомнения! Эх ты! Вице-губернатор тоже!

Следующий день я провел как бы в горячечном бреду. Я не отрывал глаз от карты Сибири, стараясь предугадать мою будущую губернию. В назначенный день

и час я снова явился к князю. На сей раз он был облачен во фрак с синей лентой Белого Орла под жилетом. Он встретил меня словами:

— Хорошо, что не опоздали, а то я тороплюсь к П. А. Столыпину. Я кое-что успел уже сделать по вашему делу; в принципе мне обещано ваше назначение, но в данную минуту, кроме Якутска, вакансий нет. Ну, а Якутск с полугодовой ночью и шестимсячным солнцем вряд ли вас устроит. Но мне говорили о каких-то перемещениях. Словом, ваше дело на мази. Это меня особенно радует, так как по министерству внутренних дел я хлопочу сравнительно редко, уделяя свое внимание главным образом министерству двора и придворным званиям, с ним связанным. Приходите ко мне ровно через неделю, т. е. во вторник, к 12 часам, и я надеюсь, к тому времени дать вам окончательный ответ по вашему делу...

— Скажите, ваше сиятельство, вы можете и придворное звание устроить?

— Отчего же, конечно, могу! Барон Фредерикс со мной считается и редко отказывает в моих ходатайствах.

— А что стоит это?

— Разно. Камер-юнкерство дешевле; камергеры, шталмейстеры, егермейстеры — дороже; гофмейстеры — еще дороже. Впрочем, — многое зависит от кандидата и положения его в обществе.

— Видите ли, князь, — сказал я, — есть у меня приятель из крупного петербургского купечества. Вечно жертвует он деньги на разные благотворительные учреждения ради чинов и орденов. Вот от этого самого приятеля я не раз слышал восклицания вроде: «Что чины? Что ордена? Вот устроил бы меня кто-нибудь камер-юнкером, так, честное слово, сто тысяч бы уплатил, не мигнув глазом». У князя заблестели глаза.

— Купец? Этот трудно, очень трудно! Но не невозможно. За сто тысяч готов похлопотать. Вы вот что: когда придете ко мне через неделю, приводите и вашего приятеля. Мы поговорим. Ну, а теперь вы извините, Петр Аркадьевич (Столыпин) меня ждет. Да, кстати: вам опять придется раскошелиться на пятьсот рублей. Уж вы простите, что я все забираю, так сказать,

вперед. Но завтра предстоит мне дорогой ужин у «Медведя» с лицом, от которого зависит ваша судьба.

Скрепя сердце, вынул я пятьсот рублей и передал князю. Он спокойно спрятал их в бумажник и, подойдя ко мне вплотную, протянул руку. Я близорук от природы, но князь подошел ко мне так близко, что я успел разглядеть звезду на его груди. К моему удивлению, звезда была Станиславская. Уже что-что, а насчет чинов, орденов, петличек — я не ошибусь! Это моя сфера. Придя домой, я стал соображать. И чем больше думал, тем сильнее охватывали меня сомнения: князь живет в дорогой гостинице, а сидит без денег, и бессовестно забирает их у меня, ничего еще не сделав; купца обещает провести в камер-юнкеры, между тем, подобных случаев еще не бывало; наконец, — лента Белого Орла, а звезда — Станиславская, опять абсурд. Как поразмыслил и взвесил все, так и решил, что налетел я на мошенника и, не долго думая, явился к вашему превосходительству просить защиты.

— И хорошо сделали, так как сомнений нет! — сказал я. — Но только чем же помочь вам?

— Арестуйте жулика, ваше превосходительство!

— Ну, и что же дальше? Он от всего отопрется, свидетелей нет, доказательств — тоже.

— Так неужели же пропали мои деньги?

— На деньги вы поставьте крест, дело теперь не в них, важно задержать мошенника! Мы вот что сделаем. Вам когда назначено быть у него?

— В следующий вторник в 12 часов.

— О, почти еще неделя! Но ничего не поделаешь — придется ждать. Я дам вам во вторник агента и он под видом вашего приятеля-купца, мечтающего о камер-юнкерстве, явится с вами к князю. Вы постарайтесь навести разговор о подробностях вашего вице-губернаторства, а еще лучше попытайтесь всучить ему деньги (не бойтесь, их отберут при аресте!). Таким образом у нас будет свидетель. Поняли?

— Понял, понял прекрасно! — сказал повеселевший Панов. — Ну, подожди же, мошенник, попадешься и ты.

Мы распрощались.

Все вышло, как по писаному. Во вторник при свидании с клиентами князь, не подозревавший беды,

принялся разглагольствовать о своих мнимых связях и о своем якобы всемогуществе. Панова он уже «назначил» в Тобольск, а с моего агента успел сорвать пятьсот рублей на предварительные расходы, после чего был арестован и препровожден в полицию. Князь Одоевский оказался ямбургским мещанином Михайловым с тремя судимостями в прошлом.

— А-а-а... князь дорогой! Покорнейше прошу садиться, — приветствовал я афериста при его появлении у меня в кабинете.

— Не измывайтесь надо мною, г. начальник, — сказал грустно Михайлов. — Поверьте, что лишь тяжелая судьба толкнула меня на это дело.

— Удивительно бесцеремонна с вами судьба, Михайлов, вот уже четвертый раз, что она вас все толкает. Пора бы и перестать!

— Что же поделаешь? — развел он руками. — Стоит стать на этот путь, а уж там не остановишься! Впрочем, должен сознаться, что совесть меня не терзает, так как, в сущности, зла я не делал.

Бедных я не избирал, моими жертвами были обычно люди с достатком, претендующие на лучшее служебное положение и не брезгающие при этом средствами для достижения своих целей. Вы не поверите, кто-кто ко мне не обращался только! Ради чина, ордена, какого-нибудь звания люди, на вид уравновешенные и серьезные, лезли доверчиво в мои сети. Господи! Да если я — какой-то несчастный Михайлов, бывший актер, без роду и племени, мог вселять доверие и зарабатывать не малые деньги, то что должно делаться в приемной у Распутина, действительно обладающего и связями, и фактической властью?

Я прервал этот поток философии, и «князь» водворен был в камеру.

За «камер-юнкера», «вице-губернатора», «Белого Орла» и прочие художества он поплатился полутора годами тюремного заключения.

НЕУДАЧНАЯ ВЫЛАЗКА

— Господин начальник, ваше превосходительство, явите Божескую милость, не оставьте без внимания бедную невесту без роду и племени.

С таким восклицанием обратилась ко мне на приеме женщина лет тридцати, одетая не без претензии, на вид — не то горничная, не то лавочница.

— Почему без роду и племени? — спросил я.

— Да, как же! Приехала я сегодня утром в Москву. Здесь у меня ни одной знакомой души, а московские жулики не только обчистили меня, как липку, но и документы сперли. А без паспорта, сами знаете, куда сунешься?! Ни в одну гостиницу не пускают, — и она разлилась в три ручья.

— Успокойтесь, что могу — то сделаю. Расскажите, в чем дело?

Она успокоилась, обтерла глаза и принялась за рассказ:

— Я сама из Вышнего Волочка, там родилась, выросла, вышла замуж и овдовела. У покойного мужа был трактир. После смерти его дела я не оставила и все шло, слава Богу, по-хорошему. С год тому назад зачастил в мое заведение наш сосед, эдакий степенный человек, непьющий, с деньгою и вроде как бы образованный. Все чаще, да чаще стал заходить, да разговоры со мною разговаривать, а месяц тому назад предложение руки своей и сердца мне сделал. Я согласилась: еще бы, от такого жениха отказываться. Однако, подумала, как бы и мне себя показать в лучшем виде. И надумала я съездить в Москву и справить себе кое-что из приданого: два суконных и одно поплиновое платье, опять же драповое осеннее пальто. Какие у нас в Волочке портнихи, прости Господи. Одна порча матерьяла. К тому же в Москве я отродясь

не бывала и очень уж мне захотелось на столичное разнообразие посмотреть, к Иверской съездить, на трамвае покататься и все прочее. Словом — набила я чемодан шелками да сукнами, перекрестилась, села в ночной поезд да поехала. Разместилась я в купе третьего класса, рядом со мной сидела какая-то женщина, а насупротив на лавке двое мужчин. Вскоре на соседних станциях вылезла сперва женщина, а потом мужчина, и мы остались вдвоем. Мой попутчик был не старым человеком с эдакой красивой бородкой и ласковым лицом. Поглядел он на меня, поглядел, да и вежливо спрашивает:

— До самой столицы ехать изволите?

— Да,— отвечаю,— в Белокаменную.

— Вы там постоянно проживаете?

— Нет,— говорю,— я отродясь в Москве не бывала. а еду по своему женскому делу.

— Стало быть, вы насчет здоровья?

— Странные вы говорите вещи. Я, слава те Господи, болезней не знаю. А просто собралась замуж и еду к столичным портникам приданое шить. Ведь московские мастерицы, поди, не чета нашей провинции.

— Это вы правильно говорите, наши портники — хоть куда! На всякую угодят.

— Вот так мне про них и говорили. Я и везу шелка и сукна свои, а за фасон заплачу, что полагается.

— Вы где же в Москве пристанете? У родных или знакомых?

— Нет, в Москве у меня нет никого. Но мне говорили, что все гостиницы на вокзал рабочих своих посылают, а те зазывают к себе публику.

— Это точно. К каждому поезду выезжают гостиницы, кто в карете, а кто и в моторе. А только экономный человек на их удочку не идет. В самой завалящей гостинице гони за номер рубля два, а то и три, а уезжать станете — так на вас налетят, как вороны: и горничные, и лакей, и коридорный, и посыльный, и швейцар. Каждому суй в руку на чай, а там, глядишь, и вскочит тебе номер вдвое.

— Что поделаешь,— говорю,— не на улице же ночевать.

— Известное дело, не на улице. А только не мало есть в Москве честных людей, что в квартире своей

сдают комнату — другую для приезжей публики; оно и не так накладно: за целковый можете получить хорошую комнату с мягкой мебелью. Опять же при отъезде «на чай» никому давать не надо. Да вот, хотя бы у моего брата постоянно приезжие бывают. И публике удобство, и ему доход. Между прочим, позвольте представиться. Я — Иван Иванович Зазнобушкин, — и он, встав, протянул мне руку.

— Очень, — говорю, — приятно. Я Настасья Петровна Брыкина, владею трактиром в Вышнем Волочке.

Поглядела я на него, поглядела и очень уж его личность показалась мне симпатичной, к тому же и фамилия такая чувствительная. Подумала, да и говорю:

— Может быть, вы, Иван Иванович, поможете мне у брата устроиться?

— Отчего же. С превеликим удовольствием: и вам одолжение сделаю и брату заработать дам. Он человек женатый, мирный и вообще честный человек.

За такими разговорами стали мы подъезжать к Москве. Гляжу из окна, а дороги во все стороны идут и на каждой по поезду, то по товарному, то по пассажирскому. А наш поезд — хоть бы что, так и задувает. Ой, говорю, боязно-то как. Долго ли до греха. Соскочит наш поезд со своего направления, да как шарахнет в посторонние и поминай, как звали, косточек не соберешь!

— Да, — отвечает, — действительно такие кораблекрушения часто приключаются и даже в газетах об этом постоянно пишут.

— Ой, какие ужасы вы говорите, — а у самой эдак вроде как голова закружилась и я прислонилась даже к его объятиям. Иван Иванович оказался мужичиной честным, не воспользовался моим умопомрачением и даже не ущипнул меня и вообще не позволил себе ничего такого-эдакого, а вежливо спросил:

— Может быть, попрыскать на вас свежей водицей?

— Мерси, — отвечаю, — не надобно, уже прошло, и я прихожу в собственную температуру.

Но вот, наконец, поезд стал замедлять ход, и мы выехали не то в какую-то залу, не то в стеклянный сарай.

— Вот мы и приехали, — сказал Иван Иванович. — Вылазьте, а я ваш чемоданчик понесу.

— Не трудитесь, я и сама справлюсь.

Вышли мы с Иваном Ивановичем из вокзала, и я так и ахнула: огромная площадь, народ так и идет, извозчики кричат, трамваи звенят, автомобили гудят... Я ажно растерялась. А Иван Иванович тащит меня с чемоданом в сторону. Здесь, говорит, извозчики дороги, пойдемте там подальше, за полцены найдем. Пошли, гляжу, а Ивана Ивановича будто и нет, в толпе затерялся. Смотрю по сторонам туда-сюда и вдруг вижу, он стоит и с каким-то босяком разговаривает, оглянулся и помахал мне рукой. Подхожу.

— Ну,— говорит,— Анастасья Петровна, родились вы, можно сказать, в сорочке. Чуть приехали, а Москва-матушка вам сурприз подносит, эдакий редкий случай. Досадно, что у меня с собой денег таких нет. Вот посмотрите, этот человек золотые часы с цепью продает за четвертную, деньги, говорит, до зарезу нужны.

Я взглянула: действительно, здоровенные мужские часы с тяжелой цепью, на худой конец — целковых двести стоят. У покойного мужа за полторы сотни много жиже были.

— Да вы, барынька, очень-то не разглядывайте,— заволновался босяк,— а то как бы фараон не заметил.

— Это у нас так в Москве городских называют,— пояснил Иван Иванович.— Не скрою от вас, г. начальник, сообразила я, что вещь наверное краденая, да жадность обуяла. Вынула я из кошелька 25 целковых и, уплатив сполна, спрятала часы в ридикюль.

— С покупочкой вас,— поздравил меня Иван Иванович.

— Да,— говорю,— вещь недурную купила.

Тут сели мы с ним на извозчика, и Иван Иванович приказал ему ехать прямо. Переехали мы несколько улиц, сворачивали направо, налево и, наконец, подкатили к хорошему большому дому. Заплатили мы с Иваном Ивановичем извозчику по двугривенному и вошли в подъезд. В дверях стоял швейцар в пальто с эдакими золотыми пуговицами и в золотой фуражке. Поднялись мы на третий этаж. Иван Иванович позвонил в дверь направо. С открывшей нам женщиной он приветливо поздоровался: «Здравствуйте, невестушка. А я вам тут пассажирку с вокзала привез. Если комната свободна, то вот договаривайтесь. А братец дома ли?»

— Нет, Коли песту. Но я и без него управлюсь. Пожалуйте осмотреть комнату,— сказала она мне ласково и открыла тут же левую дверь, выходящую в прихожую. Комната мне очень понравилась, и я наняла ее за рубль в сутки.

Оставшись одна, я вынула из чемодана запасенную провизию и собиралась было закусить, как раскрылась дверь и снова вошла моя хозяйка:

— Позвольте двугривенный и документик для прописки. У нас в Москве на этот счет строго, а с полицией мы живем всегда в миру и ладу.

— Что ж,— отвечаю,— это правильно. А документ мой в исправности. Извольте получить.

Она собралась уходить, но я задержала ее.

— Скажите, пожалуйста, где бы мне отыскать в Москве хорошую, стоящую портниху? Не знаете ли адресочка?

— Нет, адресочка точно не знаю, а вы пройдитесь только по Тверской, это наша главная улица, так сразу и сами увидите, что ни окно, то и портниха, и на разные цены от самых завалящих до поставщиц высочайшего двора.

— А это что будет, я и в толк не возьму?

— А то, что эти поставщицы самих государынь и царских дочек обшивают.

— Да ну, неужто? — а у самой в голове эдакие фантазии проносятся: спросят у меня вышневолоцкие знакомые: кто это вам, Анастасия Петровна, это поплиновое платье смастерил? А я отвечу: та самая портниха, что шьет и царице, мы с нею вместях у одной заказываем.

Закусила я и, не теряя времени, захотела приняться за дела. Съезжу к Тверской, разыщу портниху, да, кстати, и продам часы.

Позвала я хозяйку, да и спрашиваю:

— Как ваш адрес будет, а то заверчусь по городу и домой не вернуся...

А она и говорит:

— Это действительно может случиться, уже вы запомните хорошенько. А то еще лучше — я напишу вам на бумажке, а вы припрячьте записку понадежнее. — И тут же на клочке бумаги написала адрес. Вот он: Никитская, дом 5, кв. 6. Иван Иванович захотел проводить меня. Вышли мы с ним на улицу и, помню,

в воротах на фонаре я заметила цифру 5. Иван Иванович как-то поспешно свернул за угол, другой, перешли мы какую-то площадку, тут он распрощался, и я пошла. Расспросила дорогу, добралась до Тверской. Иду, а самой так жутко, того и гляди оглоблей в лоб ткнут. Смотрю по сторонам, ищу вывесок портнихи, а ничего подходящего не попадает. Прочла я на одной: «Поставщик Высочайшего Двора», а в окне, между прочим, товар не подходящий: колбасы, да фрукты разные. Наконец, попалось мне большое стекло, а за ним все женские куклы, по пояс выставлены, эдакие красивые, разрумяненные и все в разноцветных блузках. Вот оно, думаю — высочайшего двора портниха. Вхожу, спрашиваю, что, мол, возьмете за работу поплинового платья, матерьял мой. А они скалят зубы и говорят:

— Платьев мы не шьем, это не по нашей части, а вот ежели завить или причесать — так в лучшем виде можем, пожалуйста, мадам.

Выскочила я из магазина, ажно в краску бросило. Нет, думаю, надо будет толком адрес расспросить, не иначе.

Собралась я домой, да думаю, вот только часы продам, тут ошибка не выйдет, подходящих магазинов — сколько хочешь. Захожу, спрашиваю:

— Не купите ли, дескать, у меня золотые часы мужские с цепочкой?

— Покажите, — говорят.

Повертели мои часы, да и отдают назад:

— Нам такого товару не надобно.

— Почему, — говорю, — а если по сходной цене?

А приказчик эдак ядовито улыбнулся и спрашивает:

— Сколько же вы хотите за них?

— Да за сто пятьдесят отдам.

— Нет, — говорит, — красная цена вашим часам пять целковых.

— Как? — вскричала я. — Пять целковых за золотые часы?

— Да они у вас кастрюльного золота, т. е. медные-с.

Как я вышла на улицу — не помню, испугалась, но не поверила: не может этого быть. Зашла к другому часовщику, а тот за них трешку мне дает.

— Тыфу ты пропасть, думаю. Ну я, конечно, женского полу, провинциалка; ну а Иван-то Иванович чего же глядел?.. Ну, подожди же, думаю,— задам я тебе. Вытащила я из кошелька записку с адресом, прочла и паняла извощика на Никитскую. Еду, а сама от нетерпения и злости так и ерзаю, так и ерзаю на пролетке. Подкатили мы к дому, пробежала я в подъезд опять мимо швейцара с золотыми пуговицами, поднялась на третий этаж — та же дверь направо, полуоткрыта. Взглянула — над дверью номер шестой. Вхожу, а мне навстречу горничная. Спрашиваю сердито: «Что, ваш Иван Иванович будет ли дома?» «Дома, пожалуйста», отвечает и открывает мне дверь направо.

Вхожу и вижу в глубине комнаты за столом сидит человек и на меня смотрит. Евонный брат, подумала я.
— Позовите ко мне Ивана Ивановича,— говорю.

А он отвечает:

— Я и есть Иван Иванович.

— То есть в каких смыслах? — спрашиваю.

— А очень,— говорит,— просто: отца моего звали Иваном и меня тем же именем крестили.

— Странно,— говорю.

А он:

— Садитесь, пожалуйста, сударыня. Скажите, вы часто страдаете головными болями?

— Вы мне, пожалуйста, тут зубы не заговаривайте, а подайте-ка лучше мне мой чемодан, что привезла я сегодня утром к вам с вокзала, да позовите скорее Ивана Ивановича.

Он ласково посмотрел на меня и успокоительно заметил:

— Хорошо, хорошо, голубушка, и чемодан ваш сейчас принесу и Ивана Ивановича позову. Успокойтесь, не волнуйтесь.— А затем, передохнув, еще ласковее сказал: — Разденьтесь, пожалуйста.

— Это что же такое? — вскочила я.— Какое такое право имеете вы эдакие бесстыжие слова произносить? Впрочем, я вижу, все тут одна шайка мошенников и не о чем мне с вами разговаривать.

С этими словами я вышла из его комнаты и в прихожей, чуть не сбив с ног горничную, кинулась в левую дверь, в свою комнату к чемодану. Что за притча, а комната-то и не моя. Круглый стол с

пустыми бутылками, и какой-то полуголый мужчина в кровати.

Я так и остолбенела, а он усмехнулся пьяной улыбкой и проговорил:

— Экую красавицу мне шлет судьба.

Я бегом из комнаты скатилась по лестнице, да прямо к швейцару:

— Кто у вас проживает в шестом номере?

— Как кто, — отвечает, — да доктор по нервным болезням. Иван Иванович Белов.

— Не может этого быть, — говорю, — это квартира Зазнобушкина.

— Какого, — говорит, — Зазнобушкина, у нас такого и в доме не имеется?

— Да, может быть, вы, милый человек, запомнили?

— Чего там запомнить, слава те Господи, двенадцатый год при доме живу и не то, что по фамилиям, а и по именам каждую квартиру знаю.

Я поглядела в записку и говорю:

— Да это Никитская?

— Никитская, — отвечает.

— Дом номер пятый?

— Пятый.

— Так вот, нате, читайте сами.

— Действительно, — говорит, — адрес наш. А только в шестом номере живет доктор Белов. Тут у вас какая-нибудь промашка вышла.

Вышла я на улицу, так и плачу.

И на себя-то мне досадно и добра своего жалко. Конечно, на мне 300 р. припрятано на шее, да в кошельке больше двадцати осталось. Перееду в гостиницу, да там и заявлю в полицию. Хотя тошно мне было, а начала помаленьку успокаиваться. Как вдруг вспомнила: а паспорт у меня будто для прописки мошенники отобрали. В гостиницу ж без документа не пустят. Тут я взвыла белугой. Села на бульваре на скамейку и ревмя реву. Подошел какой-то старичок, подсел и спрашивает:

— О чем вы, голубушка, надываетесь?

— Как же, — говорю, — не надрываться, когда я в эдакий, можно сказать, переплет попала?

— А что такое?

Я коротко рассказала ему. Старичок покачал головой, да и молвил:

— Да это, можно сказать, не поездка, а светопреставление.

— Что же, господин, вы посоветуете мне?

— Да что тут советовать,— поезжайте вы на угол Большого и Малого Гнездиковского переулка в Сыскную полицию, обратитесь к начальнику, расскажите ему во всех подробностях дело, может, и будет толк.

Поблагодарила я его и пошла, а он еще крикнул мне вдогонку: Гнездиковский, Гнездиковский переулок. Помните слово «Гнездо».

Села я на извозчика и поехала. Еду, а сама думаю:

— Может, и этот набрехал. Вон ведь в Москве народ-то какой. Еду в полицию, а того и гляди привезут к архиерею или в родильный приют. Вот, г. начальник, все рассказала по совести. Помогите моему горю, не оставьте без внимания,— и, встав, она поклонилась мне в пояс.

— Вот что,— сказал я ей,— зайдите в мою канцелярию — оставьте точную опись украденного имущества и ваш вышневолоцкий адрес. Если хотите оставаться в Москве, то я могу выдать вам временное свидетельство на жительство. Конечно, вас кругом обмошенничали, но радуйтесь тому, что часы оказались медными.

— Какая же мне от этого радость, господин начальник?

— А та, что будь они золотыми, и вы могли бы угодить в тюрьму за скупку заведомо краденного.

— Господи ты, Боже мой, мать честная. С часами надули, лишили имущества, паспорт украли и меня же в тюрьму. Нет, ваше превосходительство, не нужно мне вашего свидетельства, уже я лучше по добру, по здорову махну на вокзал, да айда в Волочек. Ну уж и Москва, ну уж и столица. Сто лет буду жить — не забуду. Если будет вашей милости угодно, то прикажите вашим людям меня известить в Волочек, если разыщется мое добро.

Я обещал, и она, раскланявшись, вышла.

Так как трюк с часами не являлся случайным эпизодом и за последнее время до чинов полиции не раз доходили частные слухи об аналогичных проделках, то я решил усилить наблюдение перед всеми вок-

залами, обычным местом такой своеобразной коммерции. Особое внимание я приказал обратить на Николаевский вокзал. На следующее же утро с последнего было доставлено три оборванца, застигнутых на месте преступления. Им поочередно предъявлены были часы вышневолоцкой невесты. Первые двое их не признали, третий же, взглянув, довольно неожиданно заявил:

— Что тут записаться. Осень на дворе, куда мне деваться, на зиму глядя, пора на казенные харчи садиться. Да, г. начальник, действительно я продал эти часы вчерашний день какой-то дамочке.

— Ну, молодец, — поощрил я его, — раз виноват, так и нечего запираяться. Начал рассказывать, так и рассказывай до конца. Поможешь мне, так я прикажу накормить и напоить тебя, переодену в казенное, чистое платье и табачку велю отсыпать. Говори, кто был тот мужчина, что помог тебе вчера сплавить часы приежжей женщине?

Оборванец помялся немного, подумал и, решительно тряхнув головой, произнес:

— Да и вправду, чего его жмота щадить. Этот выжига проклятый никогда в беде не поможет. Вот и вчерась утром: дамочку на покупку подвел, а вечером с меня половинну потребовал, заграбастал 12 с полтиной, а того не подсчитал, что товар мне самому в пять целковых обошелся. Одно слово — собака.

— Как же его зовут, и где он живет?

— Зовут его Василий Ефимович Чернов, а проживает он на Мясницкой, дом № 5, кв. 6.

По этому адресу мною были немедленно отправлены чиновники с агентами и вскоре же мошенники с чемоданом и паспортом были доставлены в сыскную полицию.

Суд присяжных, перед которым они вскоре предстали, однако, оправдал жену с братом. Что же касается мнимого Ивана Ивановича, то он был приговорен к году тюрьмы по совокупности преступлений. Я исполнил свое обещание и приказал даже выслать чемодан багажной посылкой в Волочек. Вскоре я получил оттуда ответ, написанный в весьма чувствительных выражениях и чуть ли не с приглашением на предстоящую свадьбу.

ЖЕСТОКИЕ УБИЙЦЫ

Спускались вечерние сумерки. Была Страстная суббота. В квартире моей царил то волнение, что присуще обычно в этот день всякой русской семье. Поспешно накрывали стол и в художественном порядке расставляли на нем спедь и питии. Незабываемая минута! Особенно в эмигрантской жизни. Где найдешь теперь такую совокупность и разнообразие кулинарных шедевров.

Перебрасываясь словами с прибывшими на разговенья родными и друзьями, я, изголодавшийся за неделю поста, мысленно прикидывал, с чего начать — с куска ли малосольной ветчины или с маринованного груздочка под рюмку водки, как вдруг раздался телефон, и... померкли мечты. Звонил начальник петроградской сыскной полиции В. Г. Филиппов и просил меня, как своего помощника, немедленно отправиться на 10 линию Васильевского Острова в дом № 16, для производства осмотра квартиры № 4, где несколько часов тому назад произошло убийство некоей генеральши Максимовой.

Я немедленно по телефону вызвал двух агентов, невольно оторвав их также от пасхальных столов, и мы все трое, «обиженные судьбой», принялись за исполнение нашего сурового служебного долга.

Подъехав к дому на десятой линии, я прежде всего направился под ворота в дворницкую, т. к. старший дворник Михаил Ефимов Захарихин первый обнаружил убийство и известил о нем полицию. Спустя несколько ступенек, мы раскрыли двери и очутились в дворницкой. Это была довольно большая комната, с огромной русской печью, весьма опрятно убранная: большой чистый стол, несколько табуреток, в углу икона Божьей Матери, перед ней горящая лампада. Часть комнаты была огорожена ситцевым пологом,

из-за которого несся детский плач. В несколько спертom воздухе пахло какой-то кислятиной, не то печеным хлебом, не то пеленками. Нас встретил старший дворник Захарихин с женой, они сразу произвели на меня приятное впечатление. Он — высокого роста, лет 45, черный с проседью, с величаво степенным лицом: она, баба лет под 40, раздобревшая, в повойнике. Оба поклонились, приветливо приглашая сесть.

— Расскажите, как вы обнаружили убийство? — спросил я его.

— Дело было так, — взволнованно заговорил он. — В 4-м номере пятый год проживает генеральша Максимова. Царство ей небесное... Хорошая была барыня, — проговорил с чувством он. — Квартирку она занимала небольшую, в три комнаты с кухней. Барыня, видимо, не очень богатая, существование имели больше на пенсию, а положена им была пенсия в 150 рублей. Жила генеральша одиноко, прислуги не держала, а за пять рублей в месяц нанимала мою жену для уборки и стряпни. Любили она вообще деток и, можно сказать, привязались к нашему сынишке: то ему игрушку, то платьице подарят, да и нам, старикам, перепало от них не мало. Вчерась жена моя помогла ей напечь разных куличей да пасох, сегодня поутру отправилась моя супруга, как всегда, к ним, стучит — никто не отпирает. Станным нам это показалось, да решили обождать — вышли, мол, куда-нибудь, скоро вернется. Часика в четыре опять пошла жена, стучит и опять молчание. Тут нас взяла тревога. Подождал я еще часок-другой, да взял швейцара в свидетели и решили взломать двери. Конечно, в иной день я бы и подумал еще, а тут канун Пасхи, генеральша и вообще редко выходят, и сегодня к вечеру поджидала гостей разговляться и еще вчерашний день наказывала моей жене прийти помочь ей с утра пораньше. Вломали мы двери, вошли, глядим: в кухне беспорядок, одна пасха даже на полу валяется; прошли коридорчиком в столовую, а там все буфетные ящики выворочены, а как взглянули в спальню, так ажно не поверили.

Подробно не разглядели, увидели только, что лежит генеральша на коврикe у кровати в одной рубашке и вся в крови. Прикрыли мы тут с швейцаром двери, да и побежали в полицию.

— Ну-ка проводите нас к убитой.

Квартира покойной и беспорядок, в ней царящий, были дворником довольно точно описаны. Войдя в кухню, дворник широко перекрестился на икону, провел нас в столовую, небольшую гостиную и, наконец, в спальню. Дворник, озираясь по сторонам, часто охал, покачивал головой, и то и дело смахивал с глаз набегавшую слезу. Он робко вошел с нами в спальню и не без колебаний помог перевернуть труп по требованию полицейского врача, тут же подъехавшего для осмотра тела. Но затем, несколько поуспокоившись и, видимо, искренно соболезнуя убитой, он попытался даже помочь чем мог, с ужасом и возмущением указывая на нанесенные раны.

— Взгляните, ваше высокородие, вот здесь у шею ранища-то какая, ишь, изверги окаянные, как искромсали Божью старушку, ну подождите, кровопийцы, отольются вам ее слезы.

После осмотра я спросил его:

— Кто из родных и знакомых чаще бывал у покойной?

— Да родных, говорила она, у них не было ни души, да и знакомых, можно сказать, никого, если не считать одной старой подруги с сыном, живущих на 1-ой линии. Она и разговляться их нонче поджидала.

— Вы знаете адрес и фамилию этой подруги?

— Как же-с. Фамилия им будет Сметанина, а проживают в доме № 45-ый.

— А кто такой ее сын?

— Да Господь его знает, мужчина лет двадцати.

— Служит где-нибудь или учится?

— Нет, он какой-то непутевый и просто при мамаше проживает.

— Чем же он непутевый?

— Пьет, говорят, очень много. Впрочем, откуда нам знать, люди сказывают, а я повторяю.

Я принялся за детальный осмотр у покойной. По внешнему впечатлению квартирка была типичным гнездом одинокой интеллигентной женщины, не очень богатой, но привыкшей к известному, хотя и скромному, комфорту. Буфет в столовой, туалет в спальне и ряд шкафов и шкафиков во всем помещении были перерыты с очевидной целью грабежа. Что похищено, установить было трудно, т. к. никто не знал точно

имущества покойной. Хотя ценностей никаких не нашлось, но в записной книжке покойной, найденной в ящичке комода, был записан номер двадцатипятирублевой ренты, а сбоку от него приписка «декабрьские купоны мною разменяны». Однако, этой ренты при обыске мы не нашли. Оставалось предположить, что Максимова хранила ее где-либо в банке.

Допрошенный швейцар ничего нового сообщить не мог. На следующее утро я командировал чиновников на 1-ю линию к Сметаниным, как для наведения справок об убитой, так и для расспроса молодого Сметанина, столь невыгодно охарактеризованного дворником Захарихиным. Я был удивлен, когда через несколько часов явился мой чиновник, привезя с собой арестованного Сметанина.

— За что вы его арестовали? — спросил я его.

— Видите ли, господин помощник, его поведение внушало мне самое серьезное опасение: он как-то мало удивился известию о смерти г-жи Максимовой, на расспросы отвечал неохотно. Когда же я его спросил о том, как он проводил предыдущую ночь, он ответил, что дома, между тем, дворник их дома показал, что барины Сметанины вернулись в 8-м часу утра. Когда я напомнил ему об этом обстоятельстве и попросил объяснений, он отказался сначала, а затем, под угрозой ареста, рассказал, видимо, сказку о похищении какой-то девицы на Невском и о ночевке с ней в гостинице на Караванной. Перед тем, как арестовать и привести его сюда, я съездил с ним на Караванную, но там он никем не был узнан. Конечно, это еще не решающее доказательство, но в общей совокупности поведение Сметанина мне показалось очень подозрительным, и я счел за лучшее его арестовать.

— И хорошо сделали. После я его сам допрошу.

Начались усиленные розыски. Несколько раз допрашивались и обыскивались Сметанины. Была установлена слежка и за ними, и за швейцаром, и за Захарихиными. На третий день состоялись похороны убитой, причем следящий за Захарихиными агент видел, как последние возложили на гроб скромный венок с трогательной надписью: «Нашей благодетельнице от супругов Захарихиных». Это обстоятельство показалось мне настолько красноречивым и трогательным, что я немедленно отменил слежку за ними, тем более,

что и попервоначалу они произвели на меня впечатление вполне честных людей.

Недели через две была прекращена слежка и за швейцаром, как явно беспечная. Сметанина, упорно повторяющего свою версию, пришлось вскоре отпустить, т. к. улики против него в сущности никаких не имелось.

Запрошенные банки и банкирские конторы ответили, что вклада г-жи Максимовой, в виде 25-тысячной ренты, не хранят и вообще означенное лицо клиенткой у них не состоит. Прошло месяцев шесть в бесплодных исканиях, и я с грустью махнул рукой на это дело.

Между тем жизнь не ждала. Злоба, хитрость и алчность людские не дремали, и приходилось рассеивать внимание и напрягать силы к раскрытию новых и новых убийств, грабежей и мошенничеств.

Помню, в эту пору я был особенно занят громким убийством на станции Дно. Не только я, но чуть ли не весь штат полиции был поглощен этим вопиющим преступлением. И вот как-то в самый разгар его полицеймейстер, кажется, Галле, доставляет в сыскную полицию анонимное письмо со своеобразным адресом на конверте: «Господину Петербургскому Полицеймейстеру». Текст его был таков:

«Господин Полицеймейстер Города Петербурга. Вам следует знать, что Настасье Бобровой, крестьянке деревни Волково, Петерб. уезда доставлено из столицы разного добра — шубы, шелка, золото — и прислал их ей ейный зятек Михаил Ефимов, что проживал дворником в Петербурге. Боброва — баба нестоящая и счастья такова не заслужила. Вообще имущество нажито нечисто и даже, как понимаем, ворованное. Проявите закон и Ваше полное право».

Доносов, подобных этому, мы всегда получали не мало. Вот почему я и не придавал ему большого значения и принял лишь меры, обычные в таких случаях: был запрошен адресный стол и полицейские участки, кто из петербургских дворников значится под именем Михаила Ефимова. Таких дворников нашлось пять человек: три старика-вдовца бессемейных, да два молодых холостых, причем ни один из них не был Петербургской губ. Вместе с тем я отправил одного из агентов переодетым коробейником в деревню Вол-

ково, благо последняя была под самой столицей. Ему было поручено незаметно порасспросить старуху Боброву и ее односельчан. Боброва оказалась очень скрытной. Мой агент пробыл в Волкове два дня, а на третий, когда Боброва собралась пешком в город, он незаметно проследовал за ней и проследил ее. Агент, ничего не знавший об убийстве Максимовой, спокойно доложил мне, что Боброва направилась на 17-ю линию Васильевского Острова, д. № 16, где, войдя в ворота, постучала в дворницкую и была радостно принята дворником и его женой. Агенту удалось узнать фамилию дворника, и он назвал мне Захарихина. Услышав это имя, я вздрогнул: сразу вспыхнуло воспоминание о пераскрытом убийстве Максимовой, и я судорожно припаялся разыскивать протокол этого дела. В нем я прочел имя дворника — Михаила Ефимова Захарихина. Разыскав анонимное письмо, я увидел в нем имя зятя — дворника Михаила Ефимова. Очевидно, речь шла об одном и том же лице, но в письме, по просторечию, фамилия дворника была заменена отчеством (явление совершенно обычное для нашей деревни).

Взяв трех агентов, я немедленно помчался на 10-ю линию и, войдя к Захарихиным, объявил их и тут же находящуюся тещу арестованными. На их недоуменные вопросы я резко ответил, назвав его убийцей и указав ему на место сокрытия награбленного. Этот наскок ошеломил их и, не принося еще сознания, они как-то сразу увяли, стали тревожно переглядываться, а старуха Боброва, не выдержав, заревела и заголосила. Мои люди припаялись за тщательный обыск и после нескольких часов обнаружили, наконец, на задней стенке иконы аккуратно выпиленную, а затем подклеенную, тонкую дощечку. Отняли ее и нашли под ней сложенный и примятый билет, оказавшийся рентой убитой Максимовой. При этой находке убийцы перестали запирались, и Захарихин откровенно покался.

— Давно, — говорил он, — задумали мы это дело с женой. Надоело жить в дворниках, да перебиваться с хлеба на квас. Мы знали, что у генеральши водились деньги, да и добра было не мало. Выбрали мы канун Пасхи, надеясь, что в праздничные дни полиции не до нас будет — ведь и они, чай, люди. В пятницу на

Страстной, вечером вернулась от генеральши жена, и мы, уложив мальчонку, начали готовиться: вытащили припасенную пару ножей и начали их оттачивать. В комнате темно, одна лампада мерцает. Я и говорю жене:

— В такой великий день, а мы что задумали, — а она меня только подзадоривает:

— Не согресишь — не покаешься. — Ну, одним словом, пробрались мы по лестнице к дверям генеральши, позвонили тихонько, подходят оне, спрашивают:

— Кто там?

А жена моя эдаким сладким голоском:

— Барыня, это я. Давеча я у вас решето для протирки творога оставила, теперь самой надобно, дозвоьте взять.

И только это генеральша открыла двери, как я ее тюк по головке заранее припасенным камнем. Вскрикнула старушка, схватила за голову, а промеж пальцев кровь так и хлещет. Однако, памяти не потеряла и с эдаким укором ко мне: «Опомнитесь, Михаил Ефимыч, побойтесь Бога, ведь вы от меня одно добро видели». У меня голос срывается, отвечаю:

— Это правильно вы говорите, барыня, и жаль мне вас от души, да только плагида уже ваша такая. Говорю, чуть не плачу, а сам ее пожом раз, другой. Заголосили они и кинулись от нас в спальню. Тут с женой моей что-то приключилось. Кровь, что ли, одурманила ее, а только как завизжит, да как кинется вдогонку, она же ее и прикончила. Обшарили квартиру, отобрали что поценнее, и в ту же ночь жена с вещами слетала к матери в Волково, а я ценную бумажку заклеил в икону. Наутро привели мы нашу квартиру в порядок, отмыли кровь с платья, пожи бросил я в Неву и под вечер известил полицию.

Это дело осталось мне памятным, т. к. лишний раз показало, с какой осторожностью следует относиться к собственным впечатлениям, к собственному первому восприятию. На моей стороне имелся и широкий жизненный опыт, и обширная служебная практика, тысячи преступников разнообразных колеров перевидал я до Захарихина, а в нем готов был признать честного человека, и, если бы не случайность, то убийство это так бы и осталось нераскрытым.

Захарихины были приговорены к 12-ти годам каторги каждый.

ИВАН ЕГОРОВИЧ

При московской сыскной полиции имелся так называемый «стол приводов». Служил он как для опознавания приводимых преступников, скрывавших свои истинные и уже зарегистрированные полицией имена, так и для регистрации людей, впервые попавшихся в преступления. Десятки лиц ежедневно дефилировали перед этим столом, а в дни облав по его спискам проходило иногда даже по несколько сот человек.

Столom приводов в течение 25 лет заведовал некий Иван Егорович Бояр — личность весьма примечательная. Этот маленький, толстый человек угрюмого вида, из бывших ротных фельдшеров, за служебную практику свою пропустил такое множество людей, и до того, что называется, набил себе глаз, что в конце концов стал проявлять чуть ли не сверхъестественную прозорливость: окинет лишь беглым взглядом, и почти безошибочно определяет профессию данного человека.

Он был широко известен в преступном мире и пользовался у него, если не любовью, то известным престижем и уважением.

Иван Егорович, несмотря на свою постоянную мрачность, не только не тяготился службой, но даже любил ее, как любит артист свое дело. Не было для него большего удовольствия, как уличить во лжи скрывающегося под чужим именем мошенника и, порывшись в пыльных регистрах, в антропологических и дактилоскопических отметках, доказать непререкаемо какому-нибудь Петрову, что он вовсе не Петров, а Карпов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, и имеет за собой столько-то судимостей.

При допросах он бывал обычно лаконичен и сух; но когда того требовало дело, пускался и на хитро-

сти, часто до смерти запугивая своих невежественных «клиентов» необычным видом антропометрических приборов.

Мне вспоминается несколько сценок из обширнейшей практики Ивана Егоровича.

— Как звать? — спрашивает он у здоровенного малого, только что приведенного с облавы.

— Пахомов, Николай.

Бояр исподлобья окидывает его пронизательным взглядом.

— Судился?

— Не то, что не судился, а и в свидетелях-то у мирового не бывал!

— Врешь, негодяй!

— Ей-богу, чистую правду говорю!

— А ну-ка, давай пальчики!

Парень, с помощью Ивана Егоровича, проделывает дактилоскопическую операцию; снимок подводится под формулу и через некоторое время аналогичный разыскивается в архиве. Пахомов Николай оказывается Сидоровым Иваном с тремя судимостями у мирового и четвертой — в окружном суде. Тут же и фотографическая карточка. Иван Егорович бегло переводит взгляд с карточки на Сидорова и, как ни в чем не бывало, начинает читать:

— Сидоров Иван, такой-то губернии, уезда и волости, столько-то лет. Православный. Отбывал в таком-то году по приговору мирового судьи такого-то участка 3 месяца тюрьмы за кражу.

Пауза и строгий взгляд на вора, Затем дальше!

— По приговору мирового судьи такого-то участка отбыл 6 месяцев тюрьмы тогда-то.

Опять пауза и опять строгий взгляд на Сидорова.

— По приговору такого-то судьи, тогда-то и столько-то, и, наконец:

— По приговору московского окружного суда был присужден к арестантским ротам на 4 года за то-то. А вот и мурло, — говорит Иван Егорович, поднося фотографию к носу допрашиваемого.

Сидоров, выслушивая этот «curruculum vitae», приходит в сильное волнение, переминается с ноги на ногу, и затем, мотнув как-то в сторону шеей, неожиданно выпаливает:

— Да это же, Иван Егорыч, еще до военной службы было!!..

А то вот еще картинка.

Подходит к столу какой-то босяк. Вид его жалок и смешон: без штанов, на ногах опорки, вместо верхнего платья — одна лишь рваная жилетка. Лицо, распухшее от пьянства, лишено всякого выражения. Кто он? Что он? Чем существует? — известно одному Богу... и Ивану Егоровичу.

Последний окидывает его взглядом, быстро какими-то путями приходит к заключению, и, не поворачивая головы, протягивает к босяку руку со словами:

— Подавай присягу!*

— Извольте получить, Иван Егорович! — говорит босяк и, вынув поспешно из жилетного кармана наперсток и нанизав на палец, покорно его протягивает Бояру.

Что дало повод Ивану Егоровичу распознать мгновенно в босяке портного — остается для меня тайной.

Всех свежих преступников, т. е. людей, впервые попадавших в преступления, тотчас же регистрировали за столом приводов и снимали с них фотографии и дактилоскопические снимки, производя вместе с тем и антропометрические измерения. В тех случаях, когда вина была очевидна, но преступник продолжал запереться, Иван Егорович, играя на темноте и невежестве простого русского человека, прибегал в своеобразному методу запугивания и нередко достигал цели.

— Так как же-с? — говорил он какому-нибудь вору. — Не твоих рук дело?

— Нет, Иван Егорович, как перед Истинным — не виновен!

— Ладно! — заявляет Бояр. — Разувайся!

— А это зачем же, Иван Егорович?

— А вот увидишь — зачем. Ну, поворачивайся живей!

И пока жертва с упавшим сердцем снимала сапоги, Бояр принимался действовать. Он с шумом придвигал особую платформочку, на цинковой доске ко-

* С «присягой», т. е. наперстком портные пикогда не расстаются. Она является своего рода эмблемой их труда и традиционно хранится ими, как зеница ока, при всяких даже самых безотрадных жизненных обстоятельствах.

торой виделся черный рисунок следа, куда ставилась нога, подлежащая измерению; потрясал в воздухе огромным циркулем, служащим для измерений объема черепа; для большего эффекта у него имелся и предлинный нож, который он натачивал тут же бруском.

После больших колебаний, напуганный преступник вкладывал огромную грязную пожищу и Иван Егорович, быстро отметив ее особенности, с брезгливостью говорил:

— Ты, подлец, хоть помыл бы ноги, а то — просто противно! Убирай воп пожищу, я тебя с другой стороны общупаю! — И, схватив циркуль, подходил к жертве. — А ну-ка, что это ухо слышало?! — и он мерил ухо. — А где здесь точка? — и он ножку циркуля прикладывал к выпуклой части лобной кости.

— А что, доктор, — обращался он к какому-нибудь агенту, — глаза выворачивать будем?

— А то как же! — отвечал «доктор».

Тут часто нервы жертвы не выдерживали, и она с воплем молила:

— Отпустите вы, Иван Егорыч, душу на покаяние. Мочи нет! Ведь это что же такое?! Эвона у вас тут и ножи, и инструменты разные наготовлены. Нет, уж я расскажу все по совести, что там заpiresься?!

Когда же вся эта «фантазмагория» не приводила к желаемым результатам, то Иван Егорович, выходя из себя, принимался ворчать себе под нос:

— Эка! Выдумали разные циркули и думают всякого мошенника распознать! Дать бы ему раза два в морду, или всыпать полсотни горячих — ну, и заговорил бы! Тоже — антропология!!

Мне говорили, что ныне Иван Егорович совсем опрохвостился и рьяно служит большевистской чека, изоприся в своем искусстве уже не над уголовным элементом, а над нашим братом!

ЧЕСТНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК

— Господин начальник, там какой-то оборваец домогается вас видеть, как прикажете быть? — доложил мне однажды дежурный надзиратель.

— Оборваец? Что ему нужно?

— Говорит — по делу.

Я пожал плечами:

— Ну, зовите.

Ко мне в кабинет, как-то боком, проскользнул из двери здоровенный детина, но, Боже мой, какого вида! Только на Руси может человек рисковать показаться публично в столь своеобразном «наряде», не возбуждая против себя хотя бы пасмешливых преследований уличных мальчишек и удивленного взгляда прохожих.

Предо мной предстал чистой воды «золоторотец», в широких грязных подштанниках, со штанинами разпой длины, в какой-то дырявой, не то женской кофте без рукавов, не то в бывшей мужской жилетке. На одной ноге его красовался лапоть, на другой — рваная калоша.

— Что тебе нужно? — спросил я сурово.

— Так что я к вам по делу, г. начальник! — сказал хрипло босаяк.

— Говори!

— Слыхал я, будто вы разыскиваете Кольку Серегина, что прикончил на прошлой неделе хозяев в зеленой Ивановых, на Арбате.

— Ну так что? Разыскиваем, да.

— Так вот, г. начальник, явите Божескую милость, одолжите пятерку, а я вам отслужу и найду Кольку. Мы ведь с ним вместе на огородах у этих зеленщиков все лето проработали, и я не только Кольку в лицо знаю, я знаю и места, где искать его надо.

— Да сам-то ты кто такой? Что-то на работника мало походишь.

— Зовут меня Гаврилой, по фамилии Паховым буду, — сказал тихо босяк, опустив голову. — Работал я честь честью, да вот попала вожжа под хвост, начал пить, чем дальше, тем пуще, пропил, что было, а вот теперь и дошел до своего состояния. Глаза бы на себя не глядели!

«Наверняка надует!» — подумал я. Да жаль стало человека, и протянул я ему пятерку.

Прошло с год, а то и больше. Колька Серегин давно был разыскан, осужден и отбывал каторжные работы, как вдруг, в приемные часы, является ко мне какой-то мужчина купеческой складки и с широкой улыбочкой приветствует, как старого хорошего знакомого.

Я вытаращил глаза и уставился на него. Это был человек высокого роста, в черной поддевке, в лакированных сапогах и «при часах».

— Да неужели же не узнаете меня, г. начальник?

— Нет, не узнаю.

— Господи ты, Боже мой! А Гаврилу-то Пахова не помните разве?

— Какого Пахова?

— Да пятерку-то вы мне давали, али нет? Я еще обещался убийцу Кольку Серегина разыскать?

— А-а-а! Теперь вспомнил, как же!

— Так вот я пришел, г. начальник, долг свой вернуть и в ножки вам поклониться. Спасли вы, можно сказать, человека! С вашей легкой руки стал я оправляться помаленьку и вот слава Тебе Господи, снова человеком стал. Истратил я из той пятерки рубль на поимку Кольки, да зря — не нашел, а на остальные деньги купил на толкучке замочков. Продал с прибылью, купил еще — опять продал. Потом купил перочинных ножей и их распродал без убытку. Ну, а там — и пошло, и пошло! Одно можно сказать — оправился! Извольте получить обратно пять целковых и премного за них вам благодарны!

Я предложил Пахову опустить пять рублей в кружку (сбор, открытый в пользу семьи недавно убитого надзирателя), а затем, позвав полицейского фотографа фон Менгдена, приказал ему снять Гаврилу, портрет которого я долго сохранял в «назидание потомству».

ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ПРОСИТЕЛЬНИЦА

Среди множества лиц, осаждавших меня с разными, часто неосновательными просьбами, мне вспоминается одна просительница, явившаяся как-то ко мне не на общий служебный прием, а на дом.

Это была очень красивая и элегантная женщина: высокая, стройная, с англазированным акцентом и с манерами англичанки. Не без волнения вошла она ко мне в кабинет, но, подавив в себе это чувство, подчёркнуто спокойно села в кресло, заложила по-мужски погу на погу и, приветливо улыбнувшись, обратилась ко мне:

— Простите, что я беспокою вас не в служебное время, но мне не хотелось появляться в сыскной полиции на глазах у всех. Это могло бы вызвать разные сплетни... Я обращаюсь к вам, так как уверена в вашем молчании, не правда ли?

— Разумеется, сударыня, вы можете быть спокойны!

— Видите ли, я очень-очень колебалась, прежде чем прийти к вам, так как не привыкла выносить наружу свои семейные дела: но, с другой стороны, — было бы глупо радикально менять жизнь, не выяснив даже имени виновницы этой грустной перемены.

— Что же вы хотите, сударыня?

— А вот я вам сейчас расскажу. Восемь лет тому назад я вышла замуж за капитана Н-ского полка, князя Х. Мы поселились и живем с ним поныне в Царском. До прошлого года моя жизнь текла ровно и спокойно, муж мой был по отношению ко мне aux petits soins, права он был тихого, кроткого. Но вот с прошлого года с ним что-то случилось, он в корне изменился. Будучи до того домоседом, он стал вдруг тяготиться домом, вечера принялся проводить то у

друзей, то в собрании, зачастил в Петербург. Заметная перемена сказалась и в его отношениях ко мне: всегда корректный, выдержанный, он, разговаривая со мной, стал проявлять признаки раздражения, а однажды дело дошло до того, что в присутствии прислуги он позволил себе даже возвысить на меня голос. Чем дальше — тем хуже, и вот, наконец, князь из тихого, трезвого офицера превратился чуть ли не в дебошира и бретера. Заговорили о каких-то пьяных скандалах, о каких-то дуэлях и т. д.

— Напрасно, княгиня, вы придаете значение всяким слухам, обычно они либо вздорны, либо сильно преувеличены, — попытался я ее успокоить.

— Помилуйте, какие преувеличения!? Да вот вам для иллюстрации хотя бы случай, происшедший с мужем месяц тому назад. Придравшись, как обычно, к какому-то им же выдуманному предлогу, князь заявил мне, что немедленно уезжает на три дня в Петербург. Разумеется, из гордости, я не стала его удерживать, и он помчался на вокзал. Тоскливо для меня прошел день, наступил вечер. Не скрою от вас, что мысли мои были не в Царском, а в Петербурге, где, как я слышала стороной, князь завел какой-то роман. Сижу я дома и рассеянно перелистываю Claude Fergere'a, как вдруг звонок и входит ко мне приятель мужа по полку, Котик Z. Поцеловав мне руку, Z. сел и, едва сдерживая улыбку, заговорил:

— Ради Бога, княгиня, простите меня, что я являюсь к вам с нерадостной вестью. Но вы не пугайтесь — страшного ничего, по смешного много.

С трудом скрывая волнение, я вопросительно на него посмотрела. Он продолжал:

— Знаете ли вы, где Серж? (Это имя моего мужа.)

— Знаю: в Петербурге.

— Вовсе не в Петербурге, а здесь в Царском и притом на гаупвахте!

— Как на гаупвахте? За что? Почему?

— А видите ли, княгинюшка, дело было так. Возвращаюсь я сегодня из Петербурга на трехчасовом поезде, выхожу на платформу и первого, кого вижу, — Серж.

— Представь себе, какое свинство! — говорит он мне. — Мне до зарезу нужно ехать в Петербург, а по-

езд только что ушел. Следующий же чуть ли не через два часа. Ведь этакое невезение!

Ну, делать нечего, пошли мы с ним в буфет и молча выпили по бутылке Мума. Выходим опять на платформу и видим: на петербургский путь подают какой-то поезд.

— *Voilà mon affaire!* — говорит Серж и, обращаясь к начальнику станции, запальчиво заявляет:

— Послушайте, г. начальник, как же это вы говорите, что ближайший поезд через 45 минут, а это что?

— Это подают императорский поезд, а частным лицам билетов на него не продают.

— Но неужели же нельзя мне устроиться в вагоне для свиты?

— Вот этого не знаю. Обратитесь, капитан, к инспектору императорских поездов, гофмейстеру Копыткину. Вот он стоит в конце платформы, видите того господина в форменном пальто на красной подкладке?

— Отлично, благодарю вас. Пойдем, Котик! — и он потащил меня за рукав.

Мы пошли не торопясь. По пути Серж принялся вакурировать папиросу, она долго не зажигалась. Наконец, мы добрались до гофмейстера. Я знал последнего за большого сноба, а потому пришел в ужас, когда увидел небрежно козырнувшего ему Сержа и услышал следующий диалог:

— Скажите, пожалуйста, вы — господин Подковкин?

Гофмейстера передернуло и, свирепо взглянув на Сержа, он сухо ответил:

— Я гофмейстер Копыткин. Что вам угодно?

— Ах, ради Бога, простите! Но не разрешите ли вы мне доехать до Петербурга в этом поезде?

— Не могу-с! В императорском поезде частные лица не ездят.

— Да какой же я частный человек! Вы же видите, что я капитан Н-ского Его Величества полка, господин Кобылкин?!

Тут терпение гофмейстера Копыткина лопнуло. Свирепо сверкнув глазами, он круто повернулся и быстрыми шагами направился в павильон, где и принялся звонить по телефону царскосельскому коменданту. И вот, в результате, Серж очутился на гаушвахте.

— Не правда ли, хорошенькая история? — обратилась ко мне княгиня, нервно покусывая губы.

Переживая мысленно сцену с гофмейстером Копыткиным и всячески сдерживая душивший меня смех, я сжал плотно губы, не будучи в силах ей серьезно ответить. Эта невольная пауза длилась настолько долго, что моя встревоженная посетительница, вскинув лорнет, не без удивления на меня покосилась. Наконец, я приобрел способность говорить.

— Видите ли, княгиня, я плохо улавливаю ваши намерения. Вся ваша история, конечно, очень грустная, но я не вижу, чем бы я мог тут помочь?

— Я не сказала вам главного. Дело в том, что все эти истории с мужем, а их было не мало, мне решительно надоели, тем более, что причина его неожиданной перемены ко мне особенно оскорбительна. Мне прямо не говорят, но из намеков и слухов я знаю, что князь увлекся какой-то недостойной особой и потерял голову. И я решила разойтись с ним. В этих условиях, казалось бы, мне должно было бы быть безразличным имя его предмета страсти. Но, сознаюсь вам откровенно, что я не успокоюсь до тех пор, пока оно не станет мне известно. Для ускорения дела я решила обратиться за вашей помощью.

Я, конечно, отказал моей посетительнице в ее просьбе, вежливо указав, что сыскная полиция разыскивает лишь уголовных преступников и отнюдь не занимается ни бракоразводными, ни матримониальными делами.

Если память моя и сохранила до сих пор образ красивой княгини, то, по совести скажу, что причиной тому забавная сцена с гофмейстером Копыткиным.

«ШАЛЯПИН»

Как-то в служебные часы я обходил мою канцелярию, как вдруг раскрылась входная дверь и в управление ввалилась целая гурьба народа: двое мне неизвестных — один небольшого роста человек лет 30-ти, другой — сущий великан, за ними следовали три моих агента. Лицо великана мне показалось знакомым (где бы я мог видеть эту физиономию?). Маленький человек, по виду мелкий торговец, визжал тенорком: «Нет, врешь, не отвертись, я покажу тебе, как честной народ обманывать».

— Кто вы и что вы орете? — спросил я его.

— Кто я — это все едино, — отвечал он. — А видеть мне надо начальника.

— Я начальник и есть, — говорите, в чем дело.

Он почтительно спял фуражку и порывисто заговорил.

Я сел, предвидя долгие объяснения.

— Я из города Осы, Пермской губернии; купеческого звания, у покойного родителя лесопильный завод по Каме был; я же коммерцией не занимаюсь и живу на свои капиталы. С неделю тому назад приехал в Москву погулять, а сейчас шел по Гнездиловскому переулку и нос к носу столкнулся с этим мошенником. Как прозывает он нынче себя, не знаю, а только явился этот жулик месяца два назад к нам в Осу, назвался Шаляпиным, дал концерт и обчекрыжил всю честную публику, а так как я человек культурный и понимаю, что от таких выходов может произойти немалое зло, то я и прошу вас, господин начальник, посадить его под замок за его выходы.

Так вот кого напоминал мне великан!

Я внимательно поглядел на него: и в самом деле сходство с Шаляпиным было разительное. Предвидя

немало забавного, я прошел к себе в кабинет, позвав их обоих за собою, и, усевшись поудобнее, предложил подробно рассказать, как было дело. Купчик откашлялся и начал:

— Как я изволил вам говорить, коммерцией не занимаюсь и живу в Осе духовной жизнью. Состою сотрудником местной газеты «Осинский листок», пописываю в ней иной раз занятные статейки. Страсть люблю музыку, иконопись, архитектуру, вообще профессии. Жизнь в нашем городке самая что ни на есть серенькая, культурности никакой: сидят на завалинках да сплетничают, луцят семечки, да шляются без толку в городском садишке. Есть у нас, между прочим, в городишке и наспех выстроенный дощатый театр, да только в нем мало пользы. Труппа любительская, плохенькая, а что насчет музыки, то какие уж концерты: почтмейстерша на рояле трыпкает, казначейша утробным голосом ревет и приставша разные стихотворения читает, да и та прищептывает, словом, декаданс! И вот месяца два тому назад в редакцию нашей газеты вваливается некий человек, называет себя антрепренсером Шкловским и заявляет: «Хочу почтенную публику Осы осчастливить и сделать ей сюрприз, да такой, какого она и отродясь не видывала. Наш знаменитейший певец, краса Европы и Америки, отправляясь в кругосветное турне по Сибири, наш бесценный Федор Иванович Шаляпин дал мне, его антрепренеру, согласие на устройство одного концерта и в Осе. Конечно, наша «национальная гордость» наплевала бы на столь ничтожный городишко, но, проезжая в Сибирь, по Каме до Перми решила не пренебречь и Осой, благо последняя по пути. Короче говоря, великий Шаляпин будет здесь через неделю, цены, конечно, бенефисные, пропоет часика два-три и айда дальше».

Нечего говорить, что редакция наша, как культурный центр, с восторгом встретила эту весть и протрубила о ней на газетных столбцах. Шкловский расклеил по городу саженные афиши, засел в кассу и в один день распродал все билеты на тысячу с лишним целковых. Не передать вам словами о столпотворении, начавшемся в городе. Разговоры только, конечно, о Шаляпине. Ко мне, как к знатоку музыки, пристают

с расспросами, — что, мол, и как поет Шаляпин — зычнее ли губернского соборного дьякона, отца Варнавы, или нет? Некоторые жители, знающие светское обращение, предлагали попробовать раздобыть архиерейскую карету для встречи знаменитости. Да и я, сознаюсь откровенно, дня за три до концерта, часами заводил граммофон, стараясь в точности раскусить пение Шаляпина.

Концерт был назначен в 8 час. вечера, но уже с 7-ми театр был битком набит. В первых рядах господин исправник с супругою на казенных местах, городской голова, именитое купечество. Дальше народ попроще, в ложах купеческие семьи, иные с грудными младенцами и прислугой; на галерке, известное дело, пролетариат. Скажу по совести — в день концерта волновался я не мало. Мне, как представителю печати, хотелось лично побеседовать с великим певцом и о нашей беседе напечатать в газете. Шкловский любезно обещал устроить это свидание перед концертом, но заявил мне, что это дело нелегкое, что Федор Иванович не любит бесед с посторонними и тут же перехватил у меня 25 рублей для подкупа антуража знаменитости. В половине восьмого задним ходом пробрался я в театр к Шкловскому. «Ну что?» — спрашиваю. Он отвечает: «Изыявил согласие, но только обождите немного, сейчас евоная камерюнгффрау массирует ему глотку перед выходом». «Вот что!», — говорю, — «ладно!».

Ровно в 8 часов Шкловский на цыпочках подошел к двери уборной, почтительно постучал, просунув голову в дверь, и затем поманил меня пальцем. Сердце забилось, пальцы похолодели, сжалось горло, но, пересилив себя, я вошел в уборную. «Блоха, ха-ха!» раздался громоподобный голос, и я узрел Федора Ивановича (будь ему неладно!), развалившегося в кресле. Я растерянно пролепетал: «Я, конечно, понимаю, Федор Иванович, что насчет блохи это вы из вашего гениального репертуара, но если бы это вы и про меня сказали, то что ж, в сравнении с вами я и есть блоха, насекомое». Мошеннику моя кротость, видимо, понравилась. «Садитесь, — пробасил он. — Я революционер, и для меня все люди едины. Мне наплевать, что с королями, что с горчишниками разговаривать».

— Я, Федор Иванович, корреспондент местной газеты. Хотелось бы дать статейку с вашим жизнеописанием. Может быть, снизойдете, поделитесь, так сказать, мемуарами-с?

А он:

— Что ж, извольте! В детстве учился грамоте на медные деньги, вырос и кули таскал на барже, лакал казенку, после пел в архиерейском хоре, да так, что свечи в паникадилах гасли, ну а там и пошло, и пошло... Сначала Мамонтов помог, затем отличался у Зимина, потом императорские театры, ну а теперь все передо мной пляшет и гнется. Итальянский король меня обожает, да и народ ихний мне цену знает, между прочим, в свое время итальянцы думали меня сковырнуть, выступал я в ихнем театре; в день спектакля явился ко мне их главный хлопальщик, так и так, говорит, гоните тыщу лир, а не то мои молодцы освещут вас по первое число. Пошел вон такой-эдакий, говорю, да и спустил с лестницы, и что бы вы думали? Не освистали, шалишь брат, успех огромный стяжал, так-то!

— А каких композиторов, Федор Иванович, предпочитаете?

— Гм!.. всяких... разных. И русских и немецких!

— Ну, а все-таки, например?

— Да как вам сказать: Чайковского, Моцарта, Рубинштейна, Сальери, Циммермана, Вольф-Израиля.

— А ваше любимое музыкальное произведение, позовольте вас спросить.

— Крейцера соната Толстого, — ответил, не мигнув, мошенник.

— Извольте шутить, Федор Иванович.

— Однако, пора кончить нашу беседу, — заявил мнимый Шаляпин. — Мне необходимо поупражняться. — И он заревел гамму. Оглушенный, но счастливый, вышел я в коридор.

Прошло пятнадцать минут, полчаса, но концерт не начинался. Публика ерзала от нетерпения. Из уважения к великому таланту хлопать не смели. Жара стояла адская, дыхание толпы, усугубленное несколькими десятками керосиновых ламп, отравляло воздух. Пот со всех катился градом, но публика терпеливо ждала. В начале десятого Шкловский вышел на сцену, заявил,

что сейчас произойдет событие, что почтённая публика услышит лучшего певца мира, просил соблюдать полнейшую тишину, дабы не спугнуть певца «хрупкой музыки», как он выразился, и, поклонившись, исчез. Прошло еще томительных минут пятнадцать. Тайное нетерпение публики дошло до крайности. Наконец, вышел какой-то всклокоченный человек во ффраке, положил ноты на рояль и в почтительном ожидании остановился у стула. Толпа было захлопала, приняв его за Шаляпина, но человек судорожно замахал рукой и выразительно прижал палец к губам. Снова все замерло. Вдруг в глубокой тишине раздался три громких удара колокола и из-за кулис полетели цветы, брошенные, очевидно, Шкловским, и медленно, не торопясь, величаво вышел на сцену «Шаляпин». Что тут поднялось — трудно описать! Публика заревела, занеистовствовала, раздался писклявые бабьи голоса, захныкали дети, одним словом, столпотворение Вавилонское. «Шаляпин» подошел к рампе, остановился, милостиво улыбнулся, кивнул направо и налево и, сделав строгую морду, окаменел. Мгновенно толпа смолкла. «Шаляпин» минуты три постоял в полной тишине, затем, скосив глаз вправо, рыкнул: «Не кашляй, борода», потом, поглядев влево, сердито шикнул, и, повернувшись к аккомпаниатору, сказал: «Начинайте, генерал!»

Лохматый ударил по клавишам, и «Шаляпин», состроив невероятную рожу, запел: «На земле весь род людской». Конечно, господин начальник, музыку я очень люблю и кое-что в ней понимаю, но Бог его знает, что тут приключилось со мной — не разобрал подделки. Не скажу, конечно, чтобы и тогда мне пение его очень понравилось, а только действительно голос здоровенный, не человек, а пушка, куда нашему дьякону Варнаве! К тому же и нахальство свое берет, а держался мошенник, как сущая знаменитость. Не только публика рядовая, но и я сам оторопел, когда «Шаляпин» пропел про блоху и при тех самых словах, где говорится, что самому королю и королеве от блох не стало мочи и житья, этот мошенник скорчил не только пренахальную морду, но и, злобно прогнусавив: «Ага!», либерально ткнул перстом в самого господина исправника. Публика осталась от коп-

црта, конечно, в восторге, а Шаляпин со Шкловским и аккомпаниатором поделили выручку и в ту же ночь с пароходом уехали. Я бы, пожалуй, и по сей день не узнал бы правды, да случилось так, что кто-то у нас через несколько дней в столичной газете прочел отчет о выступлении Шаляпина в Павловском вокзале, как раз в тот день, что и у нас в Осе. Слух быстро разнесся, и народ стал осаждать нашу редакцию. Ну, и натерпелся я ругани и насмешек за свои статьи и рекламы, даже вспомнить страшно. Не оставьте без внимания, господин начальник, мое заявление и упрячьте мазурика куда следует.

Великан, много раз пытавшийся вставить свое слово и перебить велеречивого рассказчика, но сдерживаемый мною, наконец, словно сорвался с цепи, быстро, быстро, с сильным немецким акцентом заговорил:

— Донперветэр! Это шорт знайт, што такой! Этот шеловек сумасшедший. Эр ист феррикт! Их бин Вильгельм Фукс, я представитель фирмы Ферейн и К° и фсега неделя фернулся от Берлин. Фот мои бумага, фот майн пасс, фот виз!

Я осмотрел его документы, позвонил Ферейну, которого знал лично и с большими извинениями отпустил Фукса.

— Что вы на это скажете, г-н репортер? — строго обратился я к осинскому обывателю.

Тот только беспомощно развел руками.

ТЯЖЕЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Как-то ко мне в кабинет вбежал взволнованный надзиратель и доложил:

— Господин начальник, сейчас какой-то негодяй выстрелом из револьвера уложил на месте нашего постового городского Алексева. Он схвачен, обезоружен и приведен сюда. Как прикажете быть?

Убийство было, очевидно, политического характера. Расследования по этим преступлениям были вне моей компетенции, но раз арестованный уже при полиции, я счел необходимым снять с него первый допрос.

Убийцей оказался весьма благообразный господин, элегантно одетый, лет под пятьдесят, с сильной проседью, с усталым болезненным лицом. Он, не торопясь, подошел к письменному столу, взглянул на меня и тихо спросил:

— С кем имею честь разговаривать?

— С кем? — сердито отвечал я. — С начальником московской сыскной полиции.

Он вежливо поклонился.

— Что побудило вас совершить это гнусное злодеяние?

— Ну, знаете, — отвечал он, — этого в двух словах не расскажешь.

— Я не требую от вас лаконичности и по долгу службы готов выслушать ваше полное покаяние.

— Хорошо, но позвольте предварительно узнать, какая кара мне угрожает за совершенное преступление?

— Надеюсь — бессрочная каторга, а еще вернее — виселица.

— Как каторга? — взволновался он. — Позвольте, ведь Москва объявлена на положении усиленной охраны: я с заранее обдуманном намерением убил долж-

ностное лицо при исполнении им служебных обязанностей, — а вы говорите — каторга! Не может этого быть, вы ошибаетесь!

— Следовательно, вы настаиваете на смертной казни?

— Именно, именно! — убежденно и радостно сказал он.

Я удивленно вскинул глазами.

— Вы удивлены? Но вы все поймете, выслушав меня.

— Говорите!

— Я очень утомлен, разрешите сесть.

— Садитесь.

Мой странный субъект уселся в кресло, устало провел руками по лицу и начал:

— Мне было 25 лет, когда я блестяще окончил юридический факультет Н-ского университета и был оставлен при нем. В 28 лет я получил доцентуру, в тридцать был назначен экстраординарным профессором по кафедре энциклопедии права. К этому же времени я написал замечательное исследование «Эмоциональность правосознания». Я сказал совершенно новое слово и имел все основания полагать, что мой труд явится капитальным вкладом в науку.

— Положим, судя по теме, тут нет ничего нового, так как профессор Петражицкий создал уже подобную теорию.

— Петражицкий?! — и он презрительно усмехнулся. — Нет-с! Моя теория ничего общего с ним не имеет. Впрочем — все это не важно и не в этом теперь дело. Однако, для последовательности изложения должен вам сказать, что свой труд я перевел на иностранные языки и разослал всем монархам, президентам и университетам мира. Я не сомневался ни минуты, что Кембриджский, Оксфордский, Берлинский, Парижский и другие университеты не замедлят поднести мне свои почетные дипломы. Но прошел месяц — другой, третий, монархи не отзывались, школы не откликнулись. Надо думать, что главы правительств научно не достаточно подготовлены, а моим иностранным коллегам просто зависть помешала оценить мой труд. Так или иначе, но этот страшный удар сокрушил меня. Я с горечью оглянулся на прожитую жизнь, и вновь

проведенных мною за пыльными фоллиантами. В будущем ничего не мог ждать, кроме одинокой, бесплодной, немощной старости. «Безумец и тысячу раз безумец! — подумал я. — Так-то ты распорядился тем кратким промежутком времени, что отмежеван судьбой каждому из нас от вечности?!» Какой нелепостью, непроходимой глупостью показались мне гуманизм, альтруизм, работа на благо человечества, — словом, все то, чем я жил доселе. «Конечно, — сказал я себе, — время упущено, тридцать лет пропали даром, старость не за горами. Но все же, быть может, мне удастся еще наверстать потерянное и пережить всю сумму удовольствий и наслаждений, что рассеяны на житейском пути людей богатых, независимых и счастливых! Я ненавижу и боюсь старости — этой медленной агонии, этого постепенного увядания организма, сопряженного зачастую с физическими страданиями. Старости у меня не будет, как, в сущности, не было и молодости. Я вырву из своей жизни десятилетний период от 30 до 40 лет и посвящу его себе и только себе». К этому времени мое состояние определялось в пятьсот тысяч рублей. Я разбил его на десять равных частей, обеспечил себе, таким образом, 50 тысяч в год, не считая процентов. Я был одинок и этой суммы мне было достаточно. Я был свободен, как ветер. Общественное мнение отныне для меня не существовало. О сохранении здоровья заботиться не приходилось, а к конечному сроку (21 ноября 19... года) я надеялся, что жизнь успеет для меня потерять всякую привлекательность, что я буду пресыщен ею. И в этом отношении я не ошибся.

Свою новую эру земного существования я начал с путешествий: я исколесил земной шар вдоль и поперек, принимал участие в полярных экспедициях, бороздил моря на подводных лодках, перенес одно из очередных землетрясений в Японии; привязанный ремнями к седлу, я проделывал на аэроплане самые рискованные полеты. Наконец, микроб туризма и авантюры, гнездившийся во мне, понизил свою вирулентность, и я вернулся на родину. В своих долгих скитаниях я утратил последнюю человеческую черту — пытливость и превратился, в сущности, в животное. Я широко пошел навстречу всем своим низменным инстинк-

там и нет тех «содомских» грехов, которыми бы я не был замаран. В диких оргиях проводил я время, обзаведясь для этой цели целыми гаремами. Однако, быстро пресытившись всем, я вскоре почувствовал тяготение к наркотике. Окутываемый голубыми клубами опиума, я витал в царстве теней и полутонов. Так я дотянул, наконец, до вчерашнего дня, т. е. до положенного срока. Вчера я вынул револьвер, но здесь приключилось со мной совершенно непредвиденное: меня обуял дикий ужас. Не смерти желанной страшился я, конечно, а того неизбежного болевого мига, что связан с нею. Тут я понял впервые, что желать и стремиться не то же, что мочь. «О если бы нашелся друг или враг, кто согласился бы взять на себя роль палача!» — воскликнул я громко и вместе с этим звуком мой мозг пронзила мысль: «в Москве усиленная охрана. Если я убью должностное лицо, палач совершит надо мной операцию, на которую у меня не хватает собственных сил». На минуту, правда, что-то дрогнуло в сердце: за что я убью человека? Но я быстро отогнал эти малодушные соображения. Что значит жизнь какого-нибудь городского, когда мной загублено уже столько юных душ? Итак, я принял решение. Положив заряженный револьвер в карман, я вышел на улицу. На перекрестке я увидел городского, подошел и в упор выстрелил ему в голову. Теперь я требую справедливого применения ко мне закона.

В кабинете воцарилось молчание. Я прервал его словами:

— Конечно, ваше преступление гнусно, но все же вам место не на эшафоте, а в сумасшедшем доме.

Мой собеседник вскочил.

— Как, и вы туда же?! И вы страшаете меня проклятым призраком. Ложь, тысячу раз ложь! Я здоров, как вы, и действовал в здравом уме и твердой памяти! Вы не смеете отказывать мне в правосудии. Если вы не казните меня, я сбегу из любой тюрьмы и убью вас, вашего градоначальника, вашего министра и, если понадобится, самого государя.

Я пустился на хитрость.

— Хорошо, я исполню вашу просьбу. Успокойтесь. Но еще раз подумайте, твердо ли вами принято решение умереть?

— О, да, да! — сказал он с дрожью в голосе, протирая руки.

Я нажал кнопку.

— Попросите ко мне Николая Ивановича (так звали нашего полицейского врача), — сказал я вошедшему курьеру.

И, когда тот явился, я, подмигнув ему, приказал:

— Палач, вот твоя жертва! Сегодня же повесить!

Часа через два, врач, отвезший больного в лечебницу, мне рассказывал:

— Всю дорогу в карете длился припадок больного. Он был решительно невменяем и умолял меня лишь об одном: «Как можно скорее и меньше боли. Намыльте, как следует быть, веревку и сделайте хорошеенько петлю. Чрезвычайно важно, чтобы смерть наступила не от задушения, а с переломом шейного позвонка — от мгновенного паралича!» Я обещал и, привезя в больницу, сдал пациента старшему врачу, т. е. «председателю военного суда», как я пояснил больному.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю	5
Предисловие	7
Розовый бриллиант	9
Васька Смыслов	19
Коммерческое предприятие	23
Тяжелая командировка	36
Дело Гилевича	39
Жергвы Пинкертонa	50
Сашка Семипарист	56
Психопатка	69
Несколько портретов	73
Недостойный Иерей	78
Кража в Успенском соборе	83
Убийство в Ипатьевском переулке	92
Мариенбургские поджоги	98
Дактилоскопия	103
«Начальник Охранного Отделения»	118
Кража у графа Меллина	127
Миллион на монаха	138
300 000 рублей по подложной ассигновке	145
Русская заблудшая душа (Васька Белоус)	155
Кража в Харьковском банке	165
Подделка сторублевок	185
Убийство Бутурлина	193
Кража у Гордона	199
Аферист	210
Неудачная вылазка	217
Жестокие убийцы	227
Иван Егорович	234
Честнейший человек	238
Великосветская просительница	240
«Шаляпин»	244
Тяжелое воспоминание	250

А. Ф. Кошко
УГОЛОВНЫЙ МИР
ЦАРСКОЙ РОССИИ

Составитель И. П. Картушин

Оформление В. В. Подкопаева
Редактор И. П. Картушин
Технический редактор Л. А. Польщикова
Корректор Т. Ю. Сенокосова

Сдано в набор 12.12.90. Подписано в печать, 29.01.91.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 2. Гарнитура
обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ.
л. 13,44. Усл. кр.-отт. 13,65. Уч.-изд. л. 12,74. Тираж
100 000 экз. Заказ № 536. Цена 7 руб.

Издательство «Сибирь XXI век». 630075, Новосибирск,
Советская, 65.

4-я типография изд-ва «Наука». 630077, Новосибирск,
Станиславского, 25,